

Н. Чертова

КЛАВДИЯ

Ч 50

Р 32842



ПОВЕСТЬ

Советский писатель

1944



Н. ЧЕРТОВА

КЛАВДИЯ

ПОВЕСТЬ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва ★ 1944

1

До вечерней смены оставалось не более полу-часа.

Клавдия уже подсчитала и сложила в стопку телеграммы, принятые за дежурство, когда в окошечко негромко стукнули.

Клавдия приняла листок с двумя четкими строками текста, потянулась за ручкой и привычно, почти не вникая в смысл написанного, подчеркнула слова:

«Беспокоюсь здоровье целую детей Анну».

И подпись:

«Павел».

Прочитав подпись, она подняла голову. Пригнувшись к привезенному снопичку аппаратной, на нее внимательно, несколько исподлобья, смотрел Павел Качков, комсомольский секретарь. Клавдия впервые так близко увидела его глаза: они были серые, холодноватые, с тяжелыми веками.

Наверное, Клавдия смотрела на него не так, как полагаются это делать незаметной исполнительной телеграфистке, потому что Павел дерзительно усмехнулся, и около его твердого розового рта

обозначились ямочки, отчего все лицо стало вдруг другим, — каким-то мальчишеским, застенчивым.

Клавдия вспыхнула.

«...целую Анну... детей...»

Она проставила дату — 19 марта 1941 года — и от растерянности слишком тихо назвала сумму. Павел переспросил и вынул бумажник. Клавдия нехотоса разглядывала его руки — сухие, сильные и почему-то очень белые. Получив квитанцию, он приподнял кепку и сам притворил глухое окошечко.

Клавдия сидела неподвижно, сдвинув прямые, вразлет, темные брови. Она слышала его шаги, — спокойные, очень отчетливые: раз, два, три... Должно быть, его остановили. Он что-то ответил своим глуховатым голосом. Раз, два, три... Тяжело хлопнула входная дверь.

Клавдия взялась за телеграфный ключ, но рука ее бессильно обмякла, и листок телеграммы соскользнул на пол. Кто это — Анна?

В это мгновение дверь зашарила и в аппаратную вошел Яков Афанасьев, ее сменный. Сегодня он ей показался и выше и плечистее, чем всегда, очень румяный, со своим мудрым вихром, расчлениво выпущенным из-под шапки.

Виновато покосившись на часы, он пробубнил:

— Опоздал немножко...

Клавдия сдала ему регистрационную книгу, телеграммы, кассу и только после этого заметила с легким удивлением:

— Какой ты сегодня.. в новом костюме.

— В бане был, — пробормотал Яков. — А это что?

Он шагнул и, слегка кряхтя, — он был несколько толстоват для своих девятнадцати лет, — поднял телеграмму Павла.

— Частная депеша, — неохотно ответила Клавдия, — она стояла уже у двери, в своем длинном темном пальто, которое Яков называл «монашеским». — Я не успела послать.

— Качков? — оживился Яков. — Кому же это он? Клавдия махнула ему на прощанье рукой и вышла.

Прихрамывая, она побрела через станционный сквер, где уже чувствовался пьяноватый молодой запах тополей, потом через пустынную Вокзальную площадь и скоро вышла на неширокую улицу, всю в сиреневых низеньких юзябших садах.

Поселок при станции Прогонная был так невелик, что кругом, куда ни поверни голову, его обтекали всеинные поля с черными проталинами, с разбухшими костями дорог. Только с одной стороны, километрах в трех от поселка, белели, видные прямо от вокзала, трехконные каменные дома крайней улицы породка. От вокзала к городку вело старое булыжное шоссе, которое здесь принято было называть «дамба».

На запад, прямо на заход солнца, теряясь в далеком синем лесу, уходила совершенно прямая линия дорог.

Оттуда, от леса, с полей, летел сейчас ветер, упругий, легкий, порывистый.

На улице никого не было. Клавдия замедлила шаги, крепко, обеими ладонями, вытерла сухие глаза, — как это часто делала ее мать. — и тревожно усмехнулась.

Яша любопытен, как самая последняя глупая девчонка, — но что, собственно, она могла бы ему рассказать о Качкове? Она знает о Качкове ничуть не больше, чем сам Яков.

Павел появился в городе и на станции совсем

недавно, уже после нового года. Клавдия сначала думала, что это проезжий дорожный инспектор или ревизор, — такой у него был уверенный, холодно-важкий вид и неторопливые, какие-то стесним аккурратные движения. В одежде он был подчеркнуто-подтянут, носил полувоенный костюм, и каждый раз при встрече Клавдия видела на нем до глянца начищенные сапоги и блестящий воротничок.

Он был немногим старше ее, но Клавдия почему-то решительно не могла держаться с ним как со сверстником, на равной ноге. Как с Яшей, например. Никогда, как она себя помнила, с детства, никто ее так не стеснял, как Павел. При нем она терлась, краснела и мучительно, как бы всем телом чувствовала и свою хромоту, и свое немолодильное пальто, и старенькую, еще учительскую котиковую шапочку, и гладко причесанные косы...

Она сразу не влюбила Павла и все думала о нем, чтобы подавить в себе эту непонятную робость и поставить Павла в один ряд со многими станционными парнями, с которыми она недавно вместе училась и теперь встречалась с привычным равнодушием.

Но время шло, и юна начинала понимать, что не может оттолкнуть от себя Павла. Ничего для этого не делая и как будто только зля и стесняя Клавдию, Павел плотно вошел в ее жизнь. Она ждала его появления на станции, украдкой смотрела на него сквозь большое окно телеграфа... Скоро она узнала, что Павел избран секретарем комсомольского райкома и поселился в поселке на одной из тех улиц, которые назывались «линиями». Это было совсем недалеко от Суховых, — тихие снежные улочки, — и Клавдия множество раз мысленно путешествовала туда и встречалась с

Павлом, и он выводил ее, держа за руку, в бревенчатый особнячок с зелеными ставнями...

Когда же случилось, что Павел, торопясь домой, прошел однажды вместе с ней целый квартал и о чем-то ее спрашивал, она отвечала так несуразно, что ей было стыдно, и она негавидела себя и думала, что вот сейчас умрет от стыда, — таким все это оказалось трудным и непохожим на то, с чем она жила в своих мыслях...

Тот морозный день, когда вся улица светилась от солнца и снег протяжно скрипел под валенками, потом повторяется в ее воображении, тысячекратно обогащенный, значительный, дорогой сердцу.

С тех пор прошло много времени, — может быть, два месяца, — она видела Павла на собраниях, на улице, на вокзале. Сегодня, на телеграфе, она во второй раз увидела его с глазу-на-глаз...

Клавдия остановилась у чьего-то садика, сломала тонкую голую ветку с крошечными буторками почек, наддусила ее и сморщилась. Странно, что у Павла ямочки на щеках, словно у девчонки, а глаза — светлые, но какие-то тяжелые, — властные, что ли?

Но что же, собственно, случилось? Какое ей дело до той самой Анны, которую он целует? Не еще ведь были в той телеграмме — дети... Его дети, что ли?

Она яростно разжимала ветку и, глотая горечь, быстро пошла по улице. Идали, как всегда, она увидела бурый, высоко спиленный, дубовый пень, что стоял как раз напротив ворот ее родного дома. Пень этот, неохватной ширины, был старше отца Клавдии. Узловатые корни дуба, могуче выступившие из-под земли, каменно затвердели, распростерты вплоть до соседней усадьбы.

Клавдия отырыла широкую освещенную калитку. Пустынный, чисто выметенный двор встретил ее обычной тишиной. Черный пес звякнул цепью и проводил круглыми горячими глазами. Она остановилась на крыльце, откинула косу за плечо и облегченно улыбнулась.

— Мне-то что за дело! — громко произнесла она, думая о Павле и о себе.

Но, странное дело, — боль не уходила, и вместе с нею, не заглушая ее, росло острое ощущение счастья, скорее всего только угадываемого, недосягаемого. Оно шло, это блаженное, неотреборное счастье, может быть, просто — от неба, которое бывает таким далеким и синим только ранней весной, от ветра, пахнувшего прелой, прошлогодней, травой, от седых бровей родного дома, что молчаливо берегут и горе, и невидные радости семьи Суховых...

2

Клавдия смутно помнила то время, когда родительский дом был наполнен детворой, ровом, ссорами. Утром, бывало, мать ходила по комнатам в толстых шерстяных чулках и дети говорили шлопотом, пока из спальни не доносилось сильное кряхтенье отца. Мать, раздавая по пути шлепки, неслась в кухню, чтобы приготовить отцу завтрак. После завтрака отец уходит в своей черной кондукторской шинели с начищенными пуговицами, и в доме сразу становится как-то просторнее. Маленькая Клавдия боялась и не любила отца. Его квадратное лицо, оправленное в рыжеватую, тоже квадратную бороду, было исполнено холодного равнодушия. Только в минуты гнева он весь заливается бурой кровью и глаза его становились непо-

движными и как будто белесыми. Тогда между отцом и детьми вставала мать. Она неизменно говорила:

— У тебя, Демид Яковлич, тяжелая рука, — и молота принимала на себя бешеные удары.

Клавдия была младшей в доме. Она постоянно слышала, что до нее были еще две Клавдии, которые умерли в младенчестве. Поэтому она была — третьей. Старшие братья и сестры часто с нескрываемым и равнодушным презрением говорили маленькой хромушке:

— Ну, ты, третья Клавдия!

Все дети в семье Суховых росли без особого присмотра и ласки. Но старшие были почему-то увереннее, драчливее Клавдии, она же рано научилась отмахиваться, затаивать обиды и никому не верить.

Мать любила Клавдию бесполойной, жалостливой любовью.

— Горькая ты моя, — часто шептала она, поглаживая крупную неровно постриженную голову хромушки.

Клавдия всегда резко отличала мать от отца. Сначала она делала это бессознательно, но потом, подрастая, начала понимать, что мать действительно умнее, лучше и куда добрее отца.

К тому времени, когда Клавдия поступила в школу, в доме Суховых все изменилось. Двое старших братьев Клавдии — Сергей и Димитрий — ушли из родительского дома. Сергей служил в Красной Армии, где-то на Дальнем Востоке, младший — Димитрий, комсомолец, работал на этой же дороге, на станции Лес, и, по слухам, недавно женился. Сестры вышли замуж и уехали в Белоруссию, отец, за выслугой лет, ушел со службы, получил

небольшую пенсию и присматривал: домом теперь правила мать.

Она кормила семью шитьем и выручкой от продажи молока. Высокая, — на целую голову выше отца, — она легко носила по дому и по двору свое крупное, слегка располневшее, но крепкое тело. У нее был русский, вздернутый и метастый нос, серые пронзительные глаза, которыми она смотрела, не мигая, прямо в лицо собеседнику, и большой красивый рот в горьких складках. Она была очень молчалива, и Клавдия часто, почти со страхом, наблюдала, как в широко раскрытых глазах матери тлел скорбный огонь или в них вздымалась чья-то темная волна гнева.

Клавдия ловила каждое слово, брошенное матерью, запоминала его, взвешивала, иногда совсем не понимала. Почему тишина в доме казалась особенной, немирной, наполненной смутным ожиданием, — как будто проза в этих стенах еще не отшумела? Что стоит между матерью и отцом, — темное, молчаливо непрощаемое?

Ей казалось, что она никогда не задаст этих вопросов матери, — так она робела перед ней и не умела попросту приласкаться, поплакать, выспросить.

Клавдия видела, как изнывает в былке и одиночестве отец, как молчаливо тоскуя, о чем-то думает мать. Иногда они словно переговаривались, но разговоры выходили недобрые: старики не то упрекали себя в чем-то, не то расканьвались. Только каждый раз они недовольно замолкали, и мать споза переставала замечать отца: неторопливо, уверенно управлялась она по хозяйству, случала на швейной машинке, уходила куда-то, возвращалась и снова уходила.

Клавдия и сейчас, открыв дверь, подумала, что мать ушла — так мертвенно-тихо было в доме. Она оправила волосы и на цыпочках вошла в кухню.

Мать сидела на скамье у окна, надвинув на глаза белый платок.

— Где пропала? — негромко спросила она дочь. — Ужин простыл.

Тогда Клавдия увидела на другой скамье, у печи, грузную, неясную в сумерках, фигуру отца. Значит, старики ждали ее здесь, в полном молчании, может быть, каждый по-своему думая о ней?

Мать разлила по тарелкам лапшу и неторопливо сказала:

— Ждешь — прощенья попросят? Вернутся? Да, может, ты для них только страх отчий?

Клавдия покосилась на отца. Значит, разговор шел об ее братьях — о Сергее и Димитрии.

— Потешилась — хватит, — безжалостно добавила мать, открыто и с презрением глядя на старика. — Да, может, ты теперь сам им поклониться должен! Не у каждого ведь сердце отходчиво...

Клавдия положила ложку, выпрямилась. Вот она, вечная, незагугающая ссора...

— Клавдия! Не твоего ума дело! — прикрикнула на нее мать и принялась есть, рассеянно и с ожесточением.

Дряблые щеки старика посерели, в маленьких глазах стояла дикая, беспомощная тоска. Он продолжал механически опрокидывать в зубастый рот деревянную ложку. В бороде его застряло несколько длинных лапшинок. Он выхлебал тарелку, опрокинул ложку и, не вынув лапшинок из бороды, полез на печку.

Клавдия, раздетая, долго сидела на постели. Через дощатую перегородку из спальни просачива-

лись слабые лучины света. Мать разделась, тяжело встала на колени перед иконами, очень скоро поднялась, потом погасила свет и легла.

Клавдия соскользнула на чистые крашеные половицы и, стиснув на груди рубашку и дрожа от холода, прошла в родительскую спальню. Оставив запертые на болты, не пропускали здесь даже слабого света весенней ночи. Мать грузно ворочалась в темноте и что-то шептала. Клавдия остановилась у порожка, почти ничего не слыша от волнения.

— Раскидало вас, разбросало по белому свету... — шептала, вздыхая, мать. — Сергеюшку убьют — и не узнаю. А у Митюшки, поди, и сын уж родился, да моим рукам его не поствовать... Мать — без дочерей, жена — без мужа, бабка — без внучаток... Прости господи, зачем живу?

На носках, обжигаясь о холодные половицы, Клавдия промчалась через спальню, залезла под одеяло и тепло прижалась к матери. В это мгновение, забывшись ей на всю жизнь, она сliestупленной остротой ощутила мать, — всю, — ее теплую и вялую грудь, сердую расплетенную косу на подушке, жесткие плечи, длинные сильные ноги... Это была ее мать, единственная во всем мире, кормившая ее этой грудью, качавшая ее на этих усталых руках! В Клавдии как бы все остановилось от любви, от желания помочь, утешить...

— Мама! — громко зашептала она. — Мама, почему ты все молчишь, а потом говоришь сама с собой?

Мать не удивилась, не отодвинулась, но прикрикнула на Клавдию.

— В бабьей доле всегда лучше молчать, — не сразу ответила она. — Кому же скажешь, глупая? Тебе, Клаша, тоже пора привыкать.

— Молчать?

Клавдия села на постели, встряхнула головой.

— Не буду молчать! — упрямо в темноту сказала она. — Я вот у отца еще спрошу, почему он — такой...

— Каккой? — строгим и ровным голосом спросила мать.

Клавдия нашла в темноте руки матери и крепко стиснула их. Пальцы у матери были холодные и едва заметно вздрагивали.

— Он тебя бил, я ведь помню. И Сережа, и Митя из-за него из дому ушли. Ведь правда? Затем ты все терпела? Зачем?

Клавдия даже вскрикнула от внезапно закипевшего гнева! Мать сердито выдернула руки и отодвинулась.

— Ничего ты еще не знаешь, Клавша. Грех тебе об отце так думать!

— Каккой же грех? Ведь бога-то нет на свете, мама! — с досадой крикнула Клавдия.

— Кто его знает, — медленно сказала мать. — С богом-то оно спокойнее: и боишься его, и жалуешься.. при случае.

— Эх, ты, мама, — протянула Клавдия с горьким упреком. — Ведь я слышала, как ты бога-то ругала...

— Ну-ну, — окончательно рассердилась мать. — Мыслимое ли дело по ночам девчонке не спать! Зачем меня слушала? Может, я во сне разговаривала? Ступай, глупая, свет скоро. Небось, корову-то я буду доить...

Она легла и накрылась одеялом до подбородка. Клавдия растянулась рядом с ней, заложила руки под голову и, помолчав, протяжно сказала:

— А я все чего-то жду, мама...

— Ждешь?

— Будто этой весной что-то со мной случится. Вот и непохоже, — медленнее и глуше добавила она, — а все-таки случится. Что-то хорошее.

Мать порывисто, со стоном вздохнула.

— Это, Клаша, у тебя девичья печаль.

Она скорее почувствовала, чем услышала, как дочь повернула голову и часто дыша ей в ухо, ждала, что она скажет дальше. Мать закрыла глаза, тревожно пошевелила руками под одеялом и — ничего больше не сказала.

Да и какими словами можно было сказать Клавдия, что родилась она пятой, желанной дочерью в семье, что отец сказал на ее крестинах:

— Назвать надо Клавдией. Клавдия у нас, слава богу, помирают. Дочерю в колыбельку — приданое в коробейку: эдак с одними столбами от ворот останешься.

И вот Клавдия все-таки выросла, — хроменькая, невидная, нелюбимая. Старикан, не стовариваясь, решили между собой, что Клавдия — хроменький последыш — будет жить при доме, — вековухой, смиренницей, вроде монашкин... А она росла гордая, горячая, себе на уме. Да ведь изъян-то, хромую-то ногу, никуда не денешь, никакая гордость здесь не поможет!

— Мама! — тихо позвала Клавдия. — Почему ты меня зовешь «горькая»? Я — не горькая.

Мать беспокойно пошевелилась и слова ничего не ответила.

Они помолчали, обе растревоженные и недовольные. Мать легонько тронула плечо Клавдии:

— Ступай, спи.

Утром мать сделала вид, что ничего не помнит, и поглядывала на дочь с обычной холодноватой пристальностью. Клавдия поняла, что мать ничего ей не открыла, ни в чем не призналась. «Ну, и не надо». — решила Клавдия, сердито сдвигая брови. Ведь и сама Клавдия ничего не сказала матери о себе...

За завтраком мать, — псевдная за огромным самоваром. — промко съездывала чай с блюда: это обозначало, что она расстроена. Отец глухо молчал. Клавдия встретилась с его хмурым взглядом, но не опустила глаз и даже слабо усмехнулась. Ей показалось, что ложка дрогнула в руке у старика. «Не посмеешь!» — с торжеством подумала она, вспомнив, как еще совсем недавно отец бил ее по лбу ложкой, если она баловалась за столом. Теперь он, конечно, не трогает ее, восемнадцатилетнюю дочь, принимающую в дом собственный заработок! «Не люблю тебя», — мысленно говорила ему Клавдия, глядя на его желтоватое, слегка опухшее лицо, заросшее жестким каштановым волосом. Уж не слышал ли он ее разговора с матерью? Ну и что же, пусть: ведь ничто не сказано, ничто не решено...

После завтрака она убежала в зал, уставленное фикусами и темными тяжелыми стульями, на которых сидели только посты. Она вдруг решила читать книги. Ее охватило неистовое нетерпение: немедленно, сейчас же ей нужна была книга, которая, как человек, ответит ей, успокоит ее, объяснит... На что ответит? В чем успокоит? Она и сама пока еще не знала.

Она взяла с угощения панигу в красном сафьяновом переплете с почерневшим крестом и пере-

шительно ее раскрыла. Это было евангелие. Холодная торжественность слов удивила и рассердила; ее: все это было так далеко от нее!

Она с силой захлопнула евангелие, швырнула его на угольник, мельком глянула в темный лик Христа на иконе — и пошла одеваться: она решила отправиться в библиотеку.

В тесном зале железнодорожной библиотеки толпились одни только школьники, — они копались в пруде истрепанных детских книг. Клавдия отозвала в сторону старшую библиотекаршу и, покраснев до слез, шепнула ей несколько слов. Старушка с готовностью кивнула головой и засеменила к высоким полкам. Там, встретив свою помощницу, она остановилась и тихо сказала:

— Смотри-ка, вон та, в круглой шапочке, книгу про любовь просит.

Она пошевелила сухими губами и растроганно прибавила:

— Глаза большущие, горят. Прямо — дикарь какой-то.

Клавдия перстнула книгу в мраморном переплете с истрепанными углами: это была «Анна Каренина».

На дежурство ей надо было идти только ночью. Она закрылась в своей спальне и читала до обеда. За столом рассеянно прошила хлеб, не слыша сердитого покашливания отца, и то и дело невесело усмекалась.

Когда мать подала полную сковородку мелкой, прожаренной докрасна, рыбешки, она неопределенно потыкала вилкой, пробормотала «спасибо» и снова ушла в спальню, — неуклюжая в своем широком платье и какая-то потерянная.

Мать, спокойно пережевывая хлеб, долго смо-

трела на забывшуюся дверку влажными серыми глазами. Потом она тихо сказала не то старику, не то для себя:

— Задумала чего-то. Ей бы попроще надо жить-то...

Клавдия нетерпеливо пробежала роман, отрясаясь только для работы, еды, сна, и начала читать во второй раз, уже медленно и с сожалением перелистывая прочитанные страницы. Мало-помалу ею овладевала беспоконная, требовательная любовь к Анне. Она многого не понимала в чувствах и поступках Анны, — ей казалось, что все могло бы обойтись проще, проще, прямее, — но она всем сердцем верила, что Анна жила на свете. И она со страстью принимала или осуждала поступки Анны, страдала из-за ее неудач, ненавидела и совсем не понимала Каренина, робела перед Вронским.

Свидания Анны с Сережей ошеломили ее. Она снова и снова возвращалась к этим страницам, останавливалась, стонала, в забывчивости грызла губаки. Вот — мать, какая была бы для нее желанной, единственной на всем свете! Вот — мать, какой хотела бы стать она сама!

Последняя мысль была так неожиданна, что Клавдия уронила книгу на грудь и закрыла глаза. Несколько долгих мгновений прошло в чаду, в каком-то неясном борении стыда, надежды, предощущений счастья или, быть может, страданий. Потом Клавдия села, прижала книгу к стучавшему сердцу.

— Ну и что же? И не стыдно, и обязательно люблю, и буду матерью, и не стыдно! — твердо прошептала она себе и снова раскрыла книгу.

Она решительно не сомнамалась с тем, что Ан-

на должна была умереть. Клавдия совсем еще не умела думать о смерти. Перечитывая последние страницы, она возмущалась и не верила: Анна стояла перед ней живая, любимая, и Клавдия, едва не плача, тискала кулачком подушку и убежденно шептала:

— Неправда! Неправда!

Вечером, отрываясь от книги, она бродила по едва освещенным улицам. Иногда ей вдруг представлялось, что она может встретить Анну. Но ни одна из женщин, которых она встречала, и ни одна из тех, кого она знала, решительно не были похожи на Анну. Ни у кого не было таких глаз, такой походки и такой любви и жизни!..

Постепенно трезвоя, Клавдия наконец поняла, что книга написана о безвозвратно ушедших людях, что Анна действительно умерла, а может быть, ее никогда и не было. Значит, жизнь Клавдии будет совсем не похожей, не такой, как у Анны!.. !

Три ночи продержала Клавдия книгу у себя под подушкой, не притрагиваясь к ней и словно боясь ее, и наконец понесла ее в библиотеку.

Она осторожно подала книгу старушко-библиотекарше и мрачноватым, резким взглядом проследила, как та поставила книгу на полку.

— Мне больше ничего не надо, — буркнула Клавдия на вежливый вопрос старушки, круто повернулась и почти выбежала из библиотеки.

4

Яков Афанасьев всего на один год раньше окончил ту же поселковую школу, где училась младшая Сухова, и хорошо помнил Клавдию маленькой, большеглазой угрюмой девочкой. В школе она

принадлежала к тем средним, невидным ученицам, которых никто не замечает и как будто никто не любит. Дом Суховых с его высоким забором и цепным псом не привлекал симпатий ребят, и Клавдия, насколько ее помнил Яков, была всегда одинокой, училась ни хорошо, ни плохо и не искала ничьей дружбы.

Придя на телеграф, она быстро, молча и как будто без особого усердия овладела аппаратом и стала такою же незаместной исполнительницей слушающей.

Яков иной раз с нетерпением поджидал ее на телеграфе, но только потому, что она была его сменщицей. В остальное время он ее как бы не замечал.

Сам Яков был крайне ленив и спокоен характером, и им еще в полной мере распоряжалась его мать, — нестарая властная вдова, продавщица из бакалейного ларька. Еще по детской привычке Яков боялся ее круглых, ястребиных глаз и зычного голоса.

Но как ни ленив и ни равнодушен был Яков, он все-таки заметил, что Клавдия с некоторых пор стала какой-то непривычной, непрежней и с ним тоже стала держать себя словно по-иному. Ей как будто совсем не хотелось теперь возвращаться домой, и она после дежурства подолгу молча смотрела на перрон, словно чего-то поджидая. Может быть, кто-нибудь должен был приехать к Суховым и она просто боялась пропустить московский поезд, который на этой маленькой станции стоял всего три минуты. Или, может, она хотела что сказать ему и не решалась. А только что сказать?..

Однажды она задержалась в аппаратной особенно долго. Сначала смотрела в окно, потом почему-

то залезла в вороха старой телеграфной ленты и, кажется, принялась ее читать. Во всяком случае, она внимательно склонила голову, словно вма-триваясь в тусклые точки и тире, и молчала. Яков чувствовал ее присутствие, и это сковывало его движения. Он даже посадил кляксу в журнале и слизнул ее языком, словно школьник.

Надо было бы просто сказать: «Что же ты не идешь домой?» или: «Свернула бы ты эту ленту, -- ее надо сдать в архив!»

Но вместо этого он обернулся к ней и нетерпеливо, пожалуй, даже прубо, сказал:

— Чего ты там роешься? Клад, что ли, нашла?

Клавдия живнула головой и медлительно усмехнулась, глядя прямо в лицо Якову.

— Клад, Яша. Клад.

Яков вдруг заметил, что глаза у Клавдии очень темные, тревожные, со странным блеском и словно — распахнутые.

— А-а, — протянул он, растерянно поворачиваясь к ней вместе со стулом.

Больше ничего и не сказали в тот раз ни он, ни Клавдия, но с этого-то дня все и переменилось.

Яков стал теперь ждать прихода Клавдии с нетерпением и даже с некоторым страхом, точно ожидая от нее каких-то непонятных поступков и слов. А она то попрежнему часемешничала над ним, фыркала, говорила, что он будет, конечно, Карениным, а уж никак не Вронским (Яков решительно не знал, кто это, — Каренин и Вронский, а спросить стыдился), то подолгу упорно молчала, становилась угрюмой и словно обиженной, а то Яков ловил на себе ее взгляд — темный, притягательный, спрашивающий — и совсем терялся...

Ему сперва казалось, что «выдумки» Клавдии

относятся к кому-то еще, что девушка на том только срывает досаду, благо он под рукой, но потом он подумал, что это не так, и ему стало любопытно: что будет дальше? На всякий случай он стал надевать на службу новый серый костюм, — выдержав по этому поводу неприятный разговор с матерью, — и особенно тщательно стал расчесывать свой золотистый вихор...

Так, в томлении, в неопределенности, и прошла для Якова вся весна — холодная, долгая и какая-то недобрая.

Первые дни июня были тоже холодными, ветреными, пыльными. Старики ворчали, что затянувшаяся весна спутала все посадки на огородах, что никогда сирень не расцветала так поздно.

Но городской сад открыл свои летние гулянья с музыкой безо всякого опоздания, и городская и поселковая молодежь густо повалила туда в субботние и праздничные вечера.

Здесь, в саду, в одно из воскресений неожиданно и встретились Яков и Клавдия. Увидав друг друга, они вдруг остановились и не знали, что сказать. Потом, не сговариваясь, свернули на боковую аллею: она была пустая, тихая, вся в лунных плывущих пятнах.

Клавдия была какая-то особенная. Она шла молча, глядя перед собой, и стараясь не хромать и боясь оступиться, твердо ставила ногу на носок. Яков брел за ней, опустив голову, и все почему-то покашлявал. Ему было неловко и немножко скучно. Наконец Клавдия взглянула на него, — Яков показался ей грустным.

— Ты чего, Яша? — спросила она.

— Я? — Он сдержал шаг, кашлянул и слабо улыбнулся. — Я — ничего.

Они еще раз прошли до конца аллеи и повернули обратно, неловко столкнувшись плечами.

«Это я виновата, — с неожиданным острым укором подумала Клавдия. — Почему я мучаю его?» Она вспомнила, как еще сегодня утром, на телеграфе, безудержно наисмешивала над ним, а он ничего не мог ответить и только смотрел на нее синими ребячески беспомощными глазами.

И вот они идет теперь рядом с ней, покорный, вкрастный, добрый парень. Дать ему руку, сказать ласковое, настоящее слово, и он, так же преданно улыбаясь, может быть, пойдет за ней на край света, и все простит, и все поймет!

— Яша...

Она во второй раз назвала его так, — он взглянул на нее, полуоткрыв рот от удивления.

И тут внезапно стыд, и нежность, и решительность вспыхнули в Клавдии с такой непонятной силой, что она остановилась, остановила Якова и, почти не слыша себя, сказала ему прямо в лицо, неожиданно для самой себя:

— Я, кажется, люблю тебя, Яша. А ты? — Потом она опустила глаза, помолчала и добавила серьезно: — Правда.

Яков неужелюже шагнул к ней, отдал ей ногу, схватил за локоть. Руки у него были полные. Он сбивчиво заговорил о том, что он знал, догадывался, но видно было, что ничего он не знал и до крайности растерян. В нем вдруг вспыхнула мужская гордость, до того еще никогда не испытанная столь прямо и неожиданно. Мгновенно он представил себе, как придет в комсомольский комитет и небрежно скажет Павлу Качкову, этому гордцу и недотроге: «Понимаешь, сама сказала!..» Эта мысль была ослепляющей, и Яков, кажется, даже

васмеялся. Но в следующую минуту с меньшей силой его обуял страх перед неизвестностью.

Он вспомнил о матери. Ведь она недавно что-то говорила о его женитьбе. Уж не ищет ли она ему невесту? Яков вдруг увидел, как он вводит в дом к матери Клавдию, — упрямую, строптивую, в ее темном, старушечьем платье, — и растерянно закрыл глаза...

Они шли теперь очень быстро, тесно, неудобно, как в чадку, и почему-то попали к маленькой староженовой калитке, а оттуда — в сонную улицу.

Клавдия то и дело отводила от лица влажные ветви сирени с твердыми коготками молодого цвета, — удивительно много им встречалось сиреневых садов, — и говорила что-то, тотчас же забывая и путая слова. Зато все, что их окружало, — безмолвную улицу, лунный свет, и спящий блеск крыш, и черные сады, и чистый ветер, бьющий им в лицо, — все она запомнила с необычной яркостью.

Они почти выбежали за город, и старое шоссе, высветленное луной, легло перед ними широкой червонной лентой, — по ней страшно и удивительно было шагать.

Они остановились у калитки, и Клавдия не сразу узнала родной дом. Темный, нахмуренный, наглухо укрытый плотными ставнями и высоким забором, он показался ей сейчас каким-то новым, близким сердцу, как будто там ждала ее большая согласная семья, милая мать, веселые сестры...

За калиткой к ней подбежал пес, — на ночь его спускали с цепи, — и она как раз вовремя схватила его за ошейник: пес хрипел от ярости, и Клавдия чувствовала, как у нее под пальцами судорожно булькало его горло.

Яков попятился в тень от палисадинка, и Клавдия издали, едва различая его лицо, неуверенно помахала рукой на прощанье.

Она заперла калитку, отпустила собаку и медленно прошла по двору.

Окно кухни светилось, было растворено настежь, и ветер слабо шевелил белую занавеску.

Клавдия поднималась по ступенькам, постояла на крыльце. В кухне слышался незнакомый слабый женский голос и голос матери, тоже необычный, как будто мать спорила или собиралась заплакать.

Клавдия нерешительно вошла в кухню. Мать, вся красная, со сбившимся платком, быстро повернулась на стук двери. На руках у нее сидел толстый большеглазый ребенок, наверное, годовалый.

— Гостыюшка у нас желанная, — возбужденно сказала она и вилнула на женщину, сидевшую за самоваром, в переднем углу. — Еленушка, сноха. А это, значит, Митин сынок. Внучек...

Клавдия с любопытством взглянула на гостью: так вот она какая, жена ее брата, Димитрия, — маленькая женщина, вся в светлых будришках, синеглазая и несмелая...

Клавдия неловко подала руку Елене, та вяло пожала ее и обмахнулась смятым платочком.

— Переоценивали бы мужа в ночь поезде, — укоризненно сказала мать, верно, уж не в первый раз повторяя это приглашению.

— Нет, спасибо, — испуганно возразила Елена.

Она вся покраснела и, запинаясь, объяснила: Димитрий отпустил ее с тем, чтобы показать сына, Митеньку; только бабушке, Матроне Ивановне. Про отца же, Диомида Яковлевича, он сказал, чтобы тот и пальцем внука не тронул.

— У нас, говорят, с отцом дороги никогда не сойдутся.

Старуха опустила остро блеснувший взгляд, лицо у нее стало замкнутым и суровым. Клавдия едва удержалась от желтания бинуться к матери, обнять, защитить ее. Гостью потерянно ссутулилась и еще пуще покраснела. Воздарило ее неловкое молчание. Маль все еще не поднимала лица, и Клавдия показало, что она сдерживает слезы. «Вот уж чурбана этот Димитрий», — подумала Клавдия, задышавшись от стыда и гнева.

Как бы угадав ее волнение, мать вдруг выпрямилась и протянула внука снохе.

— Мог бы и отца показать, — сказала она и горько усмехнулась, — один ведь старик-то остался, как прищеп гнилой в бору.

— Ничего я не знаю. — в замешательстве прошептала сноха. — А только Митя так плакал.

Матрена Ивановна передвинула стаканы на столе, горькая усмешка не сходила с ее губ, красивых и ярких, как у молодой.

— Ты, Еленушка, своим умом прикинь: вот сынок у тебя маленький. Для его, сыновнего, счастья ты жизнь свою погасишь ли не пожалеешь. А он вырастет, да и бросит тебя, старую, одну на всем свете. А?

Елена с испугом прижала к себе сына и зажмурилась.

— Ой, что бы это?

— Так и каждая мать, — твердо сказала Матрена Ивановна. — И каждый отец.

Елена сидела, опустив голову, и в замешательстве поглаживала сына. Сердце у нее было, верно, отзывчивое и чистое — так прониклась она чужим горем, так старалась его понять.

— Как же вы живете-то? — спросила она, поднимая голову. Лицо у нее было еще жалобное и испуганное.

Старуха промолчала. Клавдия пристально взглянула на Елену. Лицо у Димитриевой жены было круглое, ясное, шея тоненькая, загорелая, почти детская. Да и на много ли она была старше Клавдии? И могла ли она понять всю томную горечь сужовского дома?..

Никакие уговоры и приглашения не помогли: Елена заплеченала сонного мальчишку и, едва из плача, ушла со двора.

Мать и дочь долго сидели молча.

— Мама! — вдруг тихо позвала Клавдия.

Мать подняла на нее тяжелый, влажный взгляд.

— Где это ты пропадала?

— Мама! Мама!

Клавдия кинулась к матери, неловко обняла ее за плечи. Ей было очень жаль мать, которая так недолго и только украдкой могла поддерживать на руках своего единственного внука. А главное — ей хотелось сказать матери о Якове.

— Ну, что тебе? — спросила Матрена Павловна и погладила спутанные волосы дочери.

Клавдия затихла, даже, кажется, перестала дышать, и мать рассеянно усмокнулась: дети у нее выросли непривычными к ласке. Уж не потому ли так безжалостно-легко оторвались они от родного дома и разлетелись в разные стороны?

Клавдия угадывала мысли матери, но какая-то волна против ее воли плеска ее, и ей хотелось спросить о своем: «Ты любила, мама?»

Она понимала, что этот вопрос, конечно, невозможен, потому что он откроет какую-то пропасть. И вдруг, с неожиданной ясностью, она подумала: вся скорбь их семьи, — эта мертвенная тишина в доме, ненадежное одиночество, — все это оттого, что здесь никогда не было любви.

Подавленная этой мыслью и стыдясь своей тайной радости, она вскрикнула:

— Мама, какая же ты у нас несчастная! — и разразилась слезами.

Мать словно очнулась, глубоко вздохнула и сказала с уверенностью и без всякой горечи:

— Ты ведь не обо мне думаешь.

— О тебе, — нерешительно возразила Клавдия. — Митина-то жена ведь потихоньку от отца приезжала?

— Ну что же, — глуше произнесла мать. — Счастье с несчастьем смешалось, ничего не осталось. Тебе и своей доли довольно достанется.

5

А это очень жаль, что нельзя было ни о чем рассказать матери. Клавдия жила теперь новой, нетерпеливой, наполненной жизнью: они с Яковом были словно счастливые заговорщики, и Клавдия думала, что, может быть, это и есть то самое счастье, которого ждала и не дождалась в молодости ее мать. Оно пришло к Клавдии странно просто, незаметно, — оно лежало у нее в ладонях, словно белый смиренный голубь со сложенными крыльями... Но была ли это — любовь?

Яков ждал ее в аппаратной, — скучная эта комната с фикусом стала им обоим желанной, — шел ей навстречу, нерешительно улыбался. Целыми вечерами они бродили, иногда молча, по дорожной насыпи, — и перед ними и позади них уходили в лес, в багровый закат, в бесконечность тусклые прямые ленты рельсов. Клавдия, как бы не веря себе, искоса взглядывала на парня и вдруг ловила на его круглом розовом безбровом лице какую-то странную, трезвую озабоченность — или страх,

что ли? По-настоящему праздничным, единственным представлялся ей только тот вечер, когда они бежали домой из городского сада. Но не сама ли она сказала ему тогда о любви, — а ведь он ей так ничего и не ответил?

И все-таки, — зачем же было бы Якову лгать, обманывать ее все эти долгие необыкновенные дни, которые прошли после того вечера? Клавдия возмущенно подавляла в себе сомнения. Оставаясь одна, она шла по улицам поселка, высоко поднимая голову и почти не припадая на увечную ногу. Все эти дни беспрестанно ей вспоминалось, что Павел долго не появлялся на вокзале. А Клавдия очень хотелось встретиться с ним и сказать прямо и с небрежностью:

— Здравствуйте. Как поживает Анна?

Когда она думала о встрече с Павлом, всю ее пронизывала жаркая мстительная радость. Она готова была простить Якову его странную презрительность и глупые шутки, только бы не ушла от нее эта возможность — встретиться с Павлом и сказать ему в лицо: «Ну, как поживает ваша Анна?»

Одним сумрачным, пыльным вечером Яков и Клавдия снова встретились в городском саду, около голубой облупленной раковины для оркестра.

С поля летел горячий ветер, и сад был весь наполнен густым порывистым шумом листвы.

Яков и Клавдия молча побрели по аллеям. Было еще рано, и им попадались только редкие пары гуляющих. Клавдия внимательно взглядывалась в их лица: уж не здесь ли пропадал по вечерам Павел? Но парни встречались незнакомые, и Клавдия представлялось все вокруг будничным, поникшим. Она вспомнила про Якова, взглянула на него с испугом и тут только заметила, что он был ка-

кой-то необычный, — мят кепку, сбивается с шага!.. Внезапно он взял ее под руку и заставил свернуть в глухую, заросшую и почти темную аллею.

— Ты чего, Яков? — удивленно спросила она наконец, сбоку пристально глядя в его лицо: в сумеречном свете оно казалось серым, глаза были страшно-темные и круглые.

Он вдруг шагнул к Клавдии и обнял ее так неуклюже, словно взял в охапку. Она вздрогнула, хотела крикнуть, но он зажал ей рот своими твердыми губами и стал властно отводить назад ее плечи. Клавдия застонала и упала на колени. Силою дыша, он старается подломить ее дрожащее тело. Она все поняла, последним усилием высвободила одну руку и, зажмурившись, ударила его кулаком по лицу. Яков от неожиданности сел в траву и принялся судорожно пригладивать свой чуб. Клавдия встала, закрыла лицо руками и, увязая в песке, пошла прочь.

Она ни о чем не думала, ничего не понимала. Вокруг смятенно лепетала листва, где-то в глубине сада дрожал тонкий звук флейты, — она слышала все это будто во сне. Она шла, не скрывая теперь своей хромоты. Сзади захрустел песок. Это шагали Яков. Она отвела руки от лица и заставила себя обернуться. Парень замер на месте в двух шагах от нее.

— Как ты смел, Яков? — спросила она одними губами, глядя на него исподлобья с гневом и болью.

— А ты кто такая? Кому ты нужна такая, а? Неужели ты думала, что я женюсь на тебе, на такой, а?

Язык у него залетается, он скалил зубы, едва не плача от ярости, и ей показалось, что он, со

своим рыжким взлохмаченным тубом. похож на мелкого злого лисенка.

— А какая я — такая? — тихо спросила Клавдия, сдвигая свои прямые брови.

— Утка! Хромуша! — взвизгнул Яков, и в круглых глазах его блеснули слезы.

До Клавдии не сразу дошел смысл слов, сказанных Яковым. Она незаметно с силой стиснула руки и, бледнея до синевы, прошептала каким-то чужим, тонким, слабевающимся голосом:

— Но я ведь сказала тебе тогда, в этой аллее... это было так недавно... ведь так один раз в жизни говорят...

Он едва дослушал ее и разразился громкой речью, беспорядочно ругая ее, унижая и прозя ей.

Она провела ладонью по лицу, словно отгоняя забытие, и выпрямилась. Багровый румянец стыда медленно заливает ей лицо. Она порывисто шагнула к парню, но он столь же быстро отступил и неожиданно смолк. Несколько мгновений она с бешеной пристальностью вглядывалась в его потное злое лицо, хотела что-то крикнуть, но закусив губы, и звук вышел такой, словно она захлебнулась. Потом она подняла голову и резко повернулась к нему спиной.

Выйдя из сада, Клавдия постояла за калиткой, прислушалась: Никто не догонял ее...

Поле, начинавшееся прямо от сада, все, — вплоть до неясной, синеватой черты горизонта, — погрузилось в пепельную мглу сумерек, и железная арка моста через Боровку висела в воздухе, исправдopodobно легкая и едва угадываемая. Эта картина немощного просторного спокойствия ошеломила Клавдию, — как будто ничего не случилось!

Она одиноко и неуверенно побрела вдоль изгороди. Навстречу ей тихо шли — невысокий парень и девушка в белом платье. Клавдия не сразу заметила, что парень этот — Павел Качков. Ее охватил такой острый, бешеный стыд, что она неуклюже спрыгнула в канавку около протуара и закрылась локтем, сделав вид, что поправляет растрепанные волосы. Парень на нее даже не взглянул, а она проводила его пристальным, удивленным взглядом и не то простонала, не то пробормотала что-то и помчалась дкось, не разбирая дороги, в какой-то глухой переулок.

Она шла, ничего не видя. Павел Качков! Уж не слышал ли он ее ссору с Яковом и потом сделал вид, что не замечает? — ведь он такой сдержанный, такой...

Она представила себе, как Павел стеснительно и очень ласково улыбается девушке и поглаживает светлый вихор. — он всегда его поглаживает, а вихор все-таки торчит. Вихрастый, сероглазый, с ямочками около твердого розового рта, встал он перед ней, и она вскрикнула, уронила руки.

И как она могла сказать такое Якову тогда, в лунную ночь, в саду? Да не думала ли она в ту минуту о Павле? Ведь она все время, все время помнит, думает о Павле... Господи, да что же это с нею?

Она чувствовала, что вот сейчас может упасть. Зажав рот кулаком, она повалилась на широкую скамейку, стоявшую у чьего-то забора. Высоко подняв плечи и покусывая кулак, она долго смотрела прямо перед собой, пока не поняла, что в лицо ей, почти задевая щеку, тянется через забор гроздь сирени, крупная, бледная, почти голубая в сумеречном свете.

Она торопливо сорвала гроздь, тяжелые капли росы свалились ей на руки, на платье. Она принялась лихорадочно искать пятипалый цветок, приносящий счастье. Почти тотчас же нашла его, — крупный, налитый светлым соком, предельно разверстый. Принялась было считать лепестки, но спуталась, размяла и проглотила цветок: он был очень горек. Она сморщилась и тут же засмеялась. Ого, вот и нашла счастливый цветок и съела его, ведь так полагается, чтобы счастье сбылось!..

Часом позднее Клавдия, усталая, ошупевшая, остановилась у калитки своего дома. Она оправдала косу, крепко вытерла лицо носовым платком, — ведь дома не должны были ничего заметить. Она хотела уже толкнуть калитку, как вдруг услышала тихий, скрипучий голос отца:

— Паровоз бежит, колесами стучит, соскучится, да как засвистит...

— Засвистит. — убежденно повторил ясный детский голос. — Ты мне дашь паровоз.

— Ишь, ты... Ладно уж, дам.

Это сказал отец, и голос его мягко дрогнул. Клавдия прижалась к калитке и вытянула шею. Отец, грузный, нетовко согнувшийся, сидел под освещенным окном второго своего дома, где теперь жили квартиранты. На коленях у него приютился мальчишка, — из-за отцовского плеча торчала белая голыденка. Наверное, это был маленький Марат, или попросту Морушка, сын квартирантки.

Клавдия почувствовала странную стесненность в сердце: отец никогда ее не ласкал. Она попыталась представить, какое у него сейчас лицо, и не могла.

Окно над головой отца с треском распахнулось, и голос квартирантки произнес неторопливо и уверенно:

— Не уснул он у вас? Давайте, купать буду.

Отец суетливо завозится на скамейке. Сейчас он подаст масленичку в окно и пойдет домой. Боясь встречи, Клавдия осторожно нажала щеколду, одним духом избежала на крыльцо и в полной темноте прошла в свою комнату.

6

На другой день было воскресенье.

Клавдии захотелось быть одной, одной, надолго, чтобы все понять, и она рано утром, потихоньку от матери, ушла за город, на реку.

Там она сняла туфли и побрела медленно, опустив голову. Она как будто ни о чем не думала и в то же время вся была переполнена смутными и горькими мыслями.

Перед нею неподвижно лежала спокойная спящая Боровка. Где-то в низовьях своем река эта была глубокой, на дне ее были ледяные родники, и она текла среди томноствольного дремучего бора, от которого и получила свое название. Здесь же, у города, Боровка покоилась в пологих пустых берегах, с каждым годом все больше мелела и все медленнее востокла свои воды через сылучие сероватые пески. Клавдия думала о том, что вот так же протечет ее жизнь — в молчании в песках, и еще о том, что на свете существуют ведь где-то моря, горы со снежными вершинами, водопады, виноградные сады... Ей хоть бы посмотреть на тот самый бор, среди которого течет настоящая Боровка, — с родниками на дне, с глубокими ому-

тами. Мать сказала ей как-то, что в бору том хоть свечу днем зажигай, — так темно там от могучих сосен...

Клавдия вошла в воду и тотчас же почувствовала, как по ногам шелковисто струится песок. Она шлепнула ногой по воде, холодные брызги полетели ей в лицо. Она засмеялась, и мрачные мысли сразу отодвинулись от нее. Нет, в самом деле: жизнь ее, может быть, еще и не начиналась, и, может, потом она с улыбкой будет вспоминать и об этом пролётном городке, и о телеграфисте Яше с рыжим вихром, и о своих темных платьях... Только вот о Павле она не забудет. Пусть Павел никогда не узнает, но в ней это — на всю жизнь...

...Искупавшись, Клавдия уселась на берегу. Она сидела, опустив голову, и не то дремала, не то думала о чем-то смутном и несчастливом. И вдруг до нее долетел прерывистый, частый звук набата. Она вскочила, подняла туфли с земли, но не надела их и быстро, без дороги, побежала к городу. Скоро она уже достигла крайней улицы, но зарева нигде не было видно, хотя она ясно расслышала, как на дальней улице, пронзительно звеня в колокол, протарахтела пожарная машина. Каланча перестала звонить. И все-таки в улице издали было заметно тревожное оживление.

Клавдию нагнала молодая женщина с длинной полурасплетенной косой. Они побежали рядом.

— Только бы не у нас горело... только бы не у нас... — звонко, как заклинание, выкрикивала женщина, и длинная коса била и била ее по спине.

Завернув за угол городской бани, они увидели молчаливую толпу у репродуктора и, не сговариваясь, побежали туда.

Никто не оглянулся на них. Неподвижность, почти оцепенение сковали людей. Клавдия попробовала заглянуть сбоку в лицо маленькой женщины в кружевной нарядке и едва не вскрикнула: это была телеграфистка Марья Ивановна — вторая ее сменица. У Марьи Ивановны неудержимо тряслись губы, неслышно и все старое лицо. Тогда только до слуха Клавдии дошел негромкий, с легкой запиной, очень знакомый голос:

«Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек...»

Тотчас же она услышала, как сзади нее длиннонокая женщина произнесла с тихим стоном:

— Война-а...

Клавдия с ужасом заглянула в репродуктор... О, сколько раз еще придется ей стоять вот так, в молчаливой утренней толпе перед темным, слепым горлом репродуктора, хрипло произносящим последние известия!

— А я-то думала — горим, — глухо, в упор шептала длиннонокая. — А тут хуже. Ваня-то мой, Ваня-то...

— Не мешайте, — сурово, не оглядываясь, сказал ей высокый старик с зонтом.

«...Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с долж-

ным сознанием к своим обязанностям, к своему труду...»

Клавдия стояла потная, ошеломленная. Какими мелкими показались ей ее собственные волнения и как далеко они вдруг отодвинулись!

Высокий, старик, выслушав радиоречь, рассеянно раскрыл зонт. Лицо его в сумрачной тени зонта было спокойно, глубокие морщины, пересекавшие лоб и щеки, как бы застыли.

— Какое начало! — сказал он, задумчиво глядя поверх толпы. — Тяжелая будет война.

Клавдия посмотрела на него с уважением и страхом, и ей вдруг нестерпимо захотелось домой, к матери.

Уже пробегая мимо элеватора, высокого и серебристого на солнце, она остановилась, пораженная внезапной мыслью: так, значит, сегодня ночью в Киеве, в Севастополе люди уже погибали от бомб. Дети в своих провалках, матери... Она долго испытующе глядела на небо, — оно было очень голубое, а линия горизонта, — чистая, спокойная. Нет, ничего она не могла себе представить, кроме привычного мирного рокота советских моторов.

Дома ее встретили молча. Отец, заложив руки за спину, ходит и ходит по залу. У матери только взгляд стал как будто тяжелее, и она ему обронила:

— Опять война с немцами...

— А пожар-то был, что ли? — с робостью спросила Клавдия.

— Да вон у Поповых дровяной сарай загорелся, — с досадой ответила мать. — Людей только избулгачили...

Во время обеда медлительная мысль матери, верно, дошла до бомбежки Киева. Мать положила

ложку на стол и в забывчивости крепко вытерла ладошкой сухой рот.

— У меня бабка туда мошам поклошиться ходила, в Печерскую Лавру, — горько, с недоумением сказала она. — Как же это они через позиции протетели?

Никто не ответил ей. Мать вспомнила еще, что поред первой войной с немцами они с Диомидом как раз подвели оба дома под матицу и тогда же повалили могучий дуб, который шумел по ночам у ворот. Она взглянула на мужа, но говорить об этом почему-то не захотелось, и она промолчала.

Клавдия заторопилась, отодвинула недопитую чашку с чаем и вышла во двор.

7

— Ну, вот — война, — сказала она негромко, с недоверием оглядывая просторный двор; дремлющего пса, рядные зеленые яблоньки в саду у соседей. Как будто яичко не изменилось. И небо такое высокое, спокойное, сияющее...

Клавдия вышла за калитку. И тут ее едва не сбила с ног бывшая ее одноклассница Нюра Попова. толстая, круглая девушка, прозванная в школе «Бомбой».

— Я к тебе, Сухоса, — крикнула она, громко дыша прямо в лицо Клавдии. — Повестки писать в Воскомат. Все девушки пошли.

— Мне на работу, — невольно отступая перед ней, сказала Клавдия.

«Бомба» безнадежно махнула короткими ручками и пошла дальше.

— Повестки, — повторила Клавдия, и сердце ее медленно сжалось. — Кому повестки? — крикнула она вслед Бомбе.

— Мобилизованным! Ночью разносить будем!

Ни одной минуты больше Клавдия не могла оставаться дома. Она крепко притворила калитку, взглянула на раскрытые окна, — они были безмолвны, даже занавески не шевелились, — и быстро пошла к вокзалу.

Мельком она заметила, что в улице беспокойно и как будто бестолково сплывают люди. Маленький, обычно очень тихий вокзал был неузнаваем. На перроне и прямо на путях стояли, сидели, ходили люди. Группы людей возникали, растекались и снова возникали. Все, оказывается, ждало поезда из Москвы, чтобы узнать новости о войне. Клавдия тоже пристально взглянула на дальний поезд, над которым обычно возникал дымок паровоза, — и ничего не увидела.

В пыльном окне аппаратной она заметила сухонькую темную фигурку Марьи Ивановны и, ничего не понимая (с утра должен был дежурить Яков), вошла в комнату телеграфа.

Старая, глуховатая Марья Ивановна работала на телеграфе последние месяцы: скоро ей, за выслугу лет, должна была выйти пенсия. Зимой и летом, идя в ночное дежурство, она надевала выюные войлочные туфли, чтобы не застудить ревматические ноги, носила старинную прическу «навесом» и складывающееся пенсне со шнуром, которое почему-то прилепилось у нее на лице, как только она начинала разговаривать.

Марья Ивановна несколько не удивилась Клавдии. Она значительно посмотрела на нее поверх пенсне и заговорила так, словно Клавдия давно стояла у нее за спиной.

— Нет, я категорически, категорически... — Она положила палец на ключ, и рука ее сразу при-

вычно ритмически задрожала. — Я не могу, не уйду сейчас. Пока пальцы двигаются... Ну и что же, что слышу плохо?

Марья Ивановна оглянулась на Клавдию и медленно усмехнулась, — на лице у нее тотчас же обнаружилось множество подвижных морщинок.

— Канонады бояться не буду.

— Марья Ивановна! — Клавдия вскрикнула, порывисто шагнула к старухе. — Вы — хорошая...

— В порядке вещей, в порядке вещей, — быстро и недовольно пробормотала та.

— А где же Яков?

— Отпросился. — Марья Ивановна кивнула на окно и брезгливо поморщилась. — В очереди за мылом стоит. В третий раз.

— В очереди? За мылом?

В окно была видна длинная очередь у голубого вокзального ларька. Очередь стояла на самом солнцепеке и была плотная, распаренная и, как видно, очень раздраженная. Клавдия заметила желтый хохолок Якова, — он маячил уже около самого ларька.

— Мыло... — еще раз, не понимая, повторила Клавдия.

— На жизнь и на смерть зацести хотят, — срипуче и зло сказала Марья Ивановна.

И Клавдия вспомнилась весь этот длинный день: финя Борожка, голос Молотова в репродукторе, старик с зонтом... И все то, что она никак не могла представить себе: бомбежка городов, кровавые сражения, которые начались на западе, — ведь там уже были теперь убитые, раненые! И очередь за мылом здесь, на Прогонной... Все это была война.

— Страшно, Марья Ивановна, — тихо сказала она.

— Страшно, Клавдюша, — откликнулась старуха и вздохнула.

Они замолчали, и через стену донесся до них голос диктора, отчетливо и с торжественностью оповещавшего население о полном затемнении городов и о сигналах воздушной тревоги...

В полночь Клавдия вышла с дежурства и ничего не узнала вокруг. На станции, в поселке и в городе погасли огни, кое-где на путях тепыхивали и пропадали слабые светлячки фонарей; часом совсем не было видно, и только фонарь крупно раскачивался и мигал у самой земли. В синей темноте июньской ночи молчаливо пыхтели паровозы (им полагалось теперь идти только в час тревоги) и слышался скрежет маневрирующих составов. С трудом, спотыкаясь о шпалы и поминутно ездраживая, Клавдия пересбралась через пути. Навстречу ей поползли слоны дома в темном разливе садов. Так еще никогда не было, — ни в детстве, ни даже в сказке.

Одним духом домчалась она до дома, порою грохнула матишкой и, едва дождавшись, куда мать откроет ей дворь, нетерпеливо прошла вельд за высокой белой матерью в ридерельскую спальню.

— Это что еще такое, — недовольно проворчала мать, подвигаясь на постели.

— Мне лучше здесь, — глухо, в подушку, сказала Клавдия. — Я боюсь чего-то, мама.

— Ну-ну, — неопределенно вротянула мать и погладила ее по затылку. — Боятся-то пока нечего, глупая.

Мать лежала неподвижно, и жопла голова Клавдии отяжелела у нее на плече, вывободила правую руку и в темноте перекрестила дочь широким, листовым крестом.

В третью ночь войны, в гулкой, предраассветной тишине, загудел паровоз, — два коротких гудка и один длинный. Скоро к нему присоединился второй паровоз. Странно и провожно диссонирруя, они начали гудеть в два голоса.

— Тревога, мать, — слышно сказал из кухни Дюминд Яковлевич. Он тяжело спустил ноги со скамьи и тутчас же услышал спокойный голос старухи:

— Вставай, дочка! Гудят! Пальтишко же забудь надеть.

Клавдия накинула пальто и вместе с отцом вышла на улицу.

На дороге, у ворот домов стояли группы людей, похожих на призраки в серой предраассветной мгле. Гудки паровозов затихли, — стали слышны непромятые голоса.

— На Москву, значит, летят.

— Но Прогонная же им нужна, прости господи!

— А мы все-таки на тракте.

— В стороне. У них тракт: Минск — Москва...

— Летят, слышите?

— Летят. Откуда.

— Дожили!

— Нельзя, граждане, так падать духом.

Клавдия вместе со всеми повернула голову на запад и вдруг заметила, как высоко в небе неслись темные воюющие точки. Это летели они. Немцы.

Москва лежала на востоке, за лесами, в двухстах пятидесяти километрах отсюда. Там особенно ярко светлело небо, и у самого горизонта начинала розоветь заря. Внезапно в той стороне возникло беснуемое, окрашенное розовым облачко, за ним другое и третье.

— Зенитные бьют, — сказал густой неторопливый мужской голос.

В светлеющем небе снова нарастал высокий отвратительный, страшный вой самолетов. Их совсем не было видно, но вой приближался, вот он зазвенел прямо над головой, и люди невольно поднимали плечи, уходили в тень, к воротам, — потом вой свалился на восток и стал глуше.

— Мать, ты бы накинула шаль, — беспокойно сказал отец, увидев, что мать вышла на крыльцо.

Мать ничего не ответила. Высокая, вся белая, она стояла на крыльцо и, закинув голову, смотрела в воющее небо.

— Как тать в ночи, — сказала она с обидой и отворачиванием. — А ты вот стой, жди, когда он на тебя смерть сбросит.

Над головами людей светлело пустое, молчаливое небо, а на востоке, в нежном, разгорающемся свете зари, возникали и таяли тугно облачка взрывов. Кто-то сказал, что он видит светлое, медленно плывущее вниз пятно парашюта. Древняя бабка, появившаяся у ворот суховского дома, стала уверять, что немецкий самолет похож на большой огурец. «Огурчом, огурчом», — шепелявя, повторяла она и обиженно жевала губами, хотя ей никто не возражал.

Бой, как видно, был недолгим или самолеты повернули назад, — только скоро в небе, все на той же недостижимой глазу высоте, они пронеслись снова — на запад.

— Уходят, уходят! — с досадой, во все горло закричали набежавшие откуда-то мальчишки.

— Держи их, — произнес насмешливый голос — тот самый, что сказал о зенитных орудиях.

Клавдия молча, с широко раскрытыми глазами

стояла за плотным плечом отца. Она не понимала — что происходит. Улица была вся в нестрых рассветных телях, и люди, подобно телям, потерянно бродили здесь под высоким и грозным небом войны. «Запомни это навсегда», — говорила она себе в каком-то смутном и горьком предчувствии.

Мать ушла в дом. Отец мельком взглянул на Клавдию и, заложив руки за пояс, пошел во двор. Скоро он вынес из сарая железную лопату, пошлевал на друзей и принялся — среди зеленого огорода — копать щель, убежище от бомб.

Он работал, не разгибаясь, и уже снял дерн так, что наметилась узкая черная полоса будущей щели, как вдруг в садике у соседней вскрикнула и запричитала женщина.

Клавдия, молча смотревшая на отца, подняла воротник пальто и через боковую калитку побежала к соседям.

— Дядю Ваню призывают на войну, — сказала она, возвратясь, и неожиданно попросила лопату.

— Сии иди, — буркнул отец, подавая ей, однако, лопату. Себе он тотчас же принес другую, и они вдвоем усердно принялись копать канаву, то и дело взглядывая в яблоневый садик.

Там сначала появились ребяташки, — двое маленьких мальчишек, которых Клавдия в обычное время как-то не замечала. Они оба прилипли к реленькому частоколу и, робко шмыгая носами, наблюдали за работой Суховых. Потом вышел Иван — молодой кустарь, работавший в артели плетеной мебели. Он тоже подошел к забору.

— Ухожу, Демид Якович, — сказал он, странно растягивая вздрагивающие губы.

— Слышал. — откликнулся отец и нерешительно вытер пот с лица.

— Так бы оно ничего, — Иван чиркнул спичкой и сразу же стал яростно жевать цыгарку. — Детишки вот малы. От детишек — трудно...

Так началось это необыкновенное, горестное, четвертое утро войны.

Отец и Клавдия с упрямым остервенением копали канаву. Мать, неодобрительно хмурясь, молча ходила мимо. У соседки то и дело выбегала в сад заплаканная жена Ивана, — она стряпала прощальные лепешки. Иван выпил и бродил между яблоньками в новой рубашке, без пояса. Принаряженные мальчишки не отставали от него ни на шаг, и он в конце концов усадил их на тачку и, напряженно улыбаясь, стал катать по саду.

После завтрака, в жаркий полдень, семья Суховых вышла к воротам, — провожать соседа. Он вышел на руках обеих мальчишек, он был красив и все так же напряженно улыбался. Сзади пошла вся семья — жена, теща, молоденькая сестра. Женщины плакали и протяжно причитали. Дойдя до Суховых, Иван поставил мальчишек на землю, низко поклонился и подошел к Матроне Ивановне. Он обнял ее и крепко поцеловал в губы. У матери задрожало лицо, медленная слеза поползла по щеке. Она обернулась к Клавдии и строго сказала:

— Ступай проводи дядю Ивана, от нас ото всех.

Когда стали подходить к вокзалу, Иван прикрикнул на женщины, и они замолчали.

На перроне нестрела большая группа мобилизованных. Возле каждого мобилизованного были женщины, ребятишки, — лица у всех были усталые и спокойные.

Только один как-то спротивно стоял в стороне. Он был уже одет в военную форму и читал газету.

Когда он опустил газету, Клавдия узнала Павла Качкова. Ее словно обдало горячим ветром. Она поколебалась немного и, еще не совсем понимая, что делает, быстро подошла к нему.

— Вы... ты... тоже уезжаешь?

— Да. Я добровольно.

— Можно... я провожу? — она зубито поникла головой, и губы у нее задрожали.

Павел сразу стал серьезным. Он сунил газету в карман, взял Клавдию за руку и осторожно отвел к ограде, где никого не было.

— А мы... постановили: здесь — не плакать, — сказал он медленно и несколько даже затрудненно. — На фронт надо ехать злым. Ты хотела мне что-то сказать?

— Да... нет.

Она стояла передним, румяная и потерянная. Он открыто и жадно разглядывал ее нежное удлиненное лицо, большой красивый рот, прямые, очень тонкие, светящиеся каштановые волосы, которые как бы оттеняли блеск темных глаз, хрупкую и от хромоты немного неровную линию плеч...

— Ну, что же, проводи. — Он взял ее за обе руки и медлительно умахнулся. — Меня больше никому провожать.

— А вы... ты послал бы телеграмму, — шепнула она, задыхаясь и глядя куда-то мимо Павла.

— Не успеют приехать, далеко, — возразил он рассеянно и с прустью. — Да и заняты они: отец — на паровозе, сестра Анна — с ребятами...

— Анна...

Павел почти не слышал и не понимал, что говорит Клавдия: его бесконечно удивляла открытая и страстная смена выражений — боли, даже отчаяния, ожидания, надежды — на ее лице и в боль-

ших широко распахнутых глазах. В нем не сразу, глухо возникала мысль, что все это — и боль, и надежда относятся ведь к нему, к Павлу!

— Да, Анна, — с удивлением произнес он, невольно сжимая ее холодные ладони. — Моя старшая сестра.

Клавдия отвернулась и закусила губы, — она сдержала, как ему показалось, внезапный тихий смех.

Они молча прошли длинный перрон, остановились у пакгауза, за которым сразу же начиналось поле зеленеющей ржи, — и тут Клавдия вдруг освободила свои руки и сказала, запинаясь:

— Яков, наверное, говорил тебе... Яков Афанасьев... Ну, да, конечно, говорил... Это — неправда. — Она подняла голову и смело, с достоинством взглянула прямо в лицо Павлу. — То есть все было, но все-таки это неправда.

— Верю, — ответил Павел, смутно вспоминая комсомольца Афанасьева, рыжего телеграфиста. Он совершенно не знал, о чем идет речь, и желал только успокоить Клавдию и действительно верил, что она не лжет, — не может лгать.

— А теперь я пойду на телеграф, отпрошусь, — сказала она быстро с облегчением и ушла от него, легко прихрамывая, — милая, непонятная, почти недостоверная...

Он остался один, удивленно засмеялся, принялся ходить по перрону взад и вперед. Яков Афанасьев, Анна... Он не знал, как это связать с ним и с Клавдией. Но было ясно одно: он уезжает на войну не один, его тоже провожает девушка, — и все это свалилось на него внезапно, как в сказке. Он думал, что новая, необыкновенная, быстролетная жизнь начнется с того момента, как он сядет

в военный эшелон, но она началась уже сегодня, сейчас, вот здесь, на сером перроне станции, где ему осталось пробыть всего несколько часов...

9

Бойцы части, куда влились мобилизованные со станции Прогонная, в этот день получили обмундирование. Отправка эшелона задержалась, и вечером в березовой роще за вокзалом образовался походный лагерь. Сюда пришли женщины, девушки, матери со станции и из города, все с белыми узелками прощальных гостинцев. Мужчины, одетые в форму, в касках, сурово надвинутых на брови, были непривычные и какие-то уже не свои, и это очень остро напоминало о скорой, скорой разлуке.

Необычайно было в этих проводах полное отсутствие пьяных. Павел отметил это с удовольствием. Он стоял на опушке рощи, глядя на пеструю сумятицу проводов. Люди вели себя со спокойным достоинством. Около каждого бойца толпились его близкие — мать, отец, жена с ребятами... Павел был один, и бойцы наперебой старались вовлечь его в свои семейные кружки. Делалось это с такой деликатной настойчивостью, с таким строгим и чистым дружелюбием, что Павлу трудно было отказываться. Но он уклонялся от приглашений, — он ждал Клавдию.

Он думал о том, что она ни на кого не похожа. Она одна на всем свете. Он заметил ее сразу, как только приехал на станцию Прогонная.

Она держалась одиноко, стеснительно и даже робко, и это странно не совмещалось с ее смелыми, сияющими глазами и тем жестковатым до-

стойнством, которое чувствовалось во всех ее движениях, в глубоком, прудном голосе и в манере отвечать скупо и неторопливо.

Ему всегда нравилось заговаривать с ней и смотреть, как она вся нежно вспыхивала, не знала, куда девать руки, и все-таки смотрела на него прямо своими горячими глазами.

Сколько раз, проходя мимо большого окна телеграфа, он с любопытством взглядывал на ее темную худенькую фигуру! Мог ли он думать, что в какой-то последний час, — в пыльной серости перрона, — перед ним встанет именно эта девушка, смятенная, с закушенными губами: «Можно.. я провожу?..»

Клавдия! Он порывисто выпрямился, хрустнул веткой, что держал в руках. Имя это стало ему дорого, — он часто и потаенно будет шептать его там, на фронте.

Он так размятелся, что не заметил, как Клавдия вышла к нему из-за старой дуплистой березы. Он даже взглянул: она была в светлом легком платье, и в руках у нее, как и у всех женщин, белел узелок с гостиницами!

— Я маму попросила... — слегка запыхавшись, сказала она. — Испекла одобушек. Только я ей ничего не сказала...

— Не сказала? — улыбаясь, спросил Павел.

Клавдия опустила голову.

— Ну, идем, — заторопился Павел, и они быстро пошли в сторону пруда.

В тот момент, когда они обходили дымящую походную кухню, молодецкий повар в белом колпаке шуточно постукал уполовником по краю котла и неожиданно сильным, мужественным, просторным голосом запел песню про Волгу-матушку.

Песню подхватили сразу мужские, девичьи, ребячьи голоса, и она разгорелась, как пожар, во всем лесу.

Павел и Клавдия так и замерли около запева-лы, — они пели вместе со всеми одну песню, и другую, и третью, потому что невозможно было оторваться от этого стройного потока голосов.

Потом Павел обнял Клавдию и осторожно, немножко неловко повел ее дальше. Женщины с Прогонной смотрели им вслед затуманенными, жалостливыми глазами. Никто даже не вспомнил, что никогда ранее не видели Клавдию вместе с Павлом: в горестный час расставанья все было допустимо и понятно.

Клавдия шла легко, подняв голову, сияющая, наперекор всему, — и один немолодой мобилизованный, взглянув на нее, не удержался и дружественно спросил Павла:

— Твоя лебедушка-то?

Павел молча кивнул головой: «Моя».

Они сели у самой воды, уже темнеющей и прохладной. В лесу тушили костры, и ребяташки встревоженными кучками, с плачем брели в поселок: им не хотелось уходить домой от отцов, от походной кухни, от песен. Женщины, ворча, проводили их через железнодорожную насыпь и возвратились к мужьям.

— Я тоже останусь, — сказала Клавдия, глядя в черную воду пруда. — Не хочется спать. Посидим.

Павел сбегал к эшелону, принес шинель, накинул ее на плечи Клавдии и сел рядом. Они сидели тесно, почти не видя друг друга, в темноте, которая быстро одевала и рощу, и озеро. Уже пропало ощущение отъединенности, мира и тишины, какое было здесь днем, под солнцем. Отчетливо

слышался разноголосый гомон вокзала, пыхтенье маневрового паровоза. Мимо то и дело проносились длинные эшелоны, без гудков и огней. Тогда частый, как бы задыхающийся, металлический перестук врывался в рощу и тревожное раскатистое эхо нарастало подобно грому.

Клавдия каждый раз вздрагивала и оглядывалась на ту синеватую мглу за рощей, где — на восток и на запад — разлетались прямые стремительные пути.

— Вот уж и ночь, — тихонько сказала она, когда грохот одного из эшелонов прокатился через лес и затих вдали. — Как быстро.

— Тебя не будут искать дома?

— Если б ты знал, какая у меня мать хорошая.

— А отец?

— Расскажи о себе, — попросила Клавдия, не ответив на вопрос Павла.

— Ты скрытная.

Они засмеялись. Что мог рассказать о себе Павел? Он вырос в семье старого машиниста, на такой же вот маленькой станции, только по ту сторону Москвы. Учился в школе, потом в ФЗУ, а последний год — заочником одного из московских институтов, хотел стать инженером-строителем. Но вот — война...

Павел произнес все это скороговоркой, помолчал и сказал серьезно и как будто с грустью:

— Я очень хотел бы, чтобы ты увидела мою сестру Анну. Напиши ей о нас. Непременно напиши, хорошо?

На мгновение он закрыл глаза, и перед ним тотчас же встали — желтый приземистый каменный домик у самого полотна дороги, близкая опушка леса, — осенью она становилась прозрачной и

янтарно рдела под солнцем. Павел любил приносить домой ясеневые, оранжево-желтые, увядающие листья, которые маленькие сестры называли «звездочки». У леса тихо прорастало осокой и камышом вот такое же озеро...

Павел взглянул в воду, — она была недвижной, словно темное стекло, — и принялся отрывисто, то смеясь, то вдруг задумываясь, рассказывать Клавдии о своем доме.

Вот его отец, — угрюмый, седой, обветренный, в своем рыжем промасленном плаще. Он только что вернулся из поездки и сидит в тесной кухне. Здесь все, — щербатый, чисто выскобленный стол, русская печь с задымленным челом и уютными печурками, самовар со вмятиной на пузатом боку, белые скатерти и занавески, — все близко и ощутимо напоминает о матери. Отец сидит, широко расставив ноги в смазных сапогах, пьет водку и смотрит прямо перед собой странно-светлым, хмелеющим взглядом. В углу, на скамье, под начищенными кастрюлями, молчаливо согнулась Анна.

Анна... Отчетливо, с нежностью, Павел вспоминал ее — усталую, обиженную, с лицом тонким, большеглазым, но уже пронутым морщинами и прочной желтизной: Анне было теперь под сорок лет.

Когда в семье умерла мать, младшая девочка была еще грудной. Анна осталась хозяйкой в доме и забыла себя для пятерых детей, которым она стала матерью. Так, выкармливая и выхаживая малышей, в вечной изнурительной суете, она и погасила свою невидную молодость.

Только уехав из дома в этот чужой городок, Павел понял, в каком неоплатном сердечном долгу

находятся все они. дети машиниста Качкова, перед тихой Анной, отдавшей им свою единую жизнь.

— Непременно напиши Анне, — повторил он теперь с какой-то воспаленной и, как казалось Клавдии, скрытно-опечаленной настойчивостью.

Она слегка встревожилась и торопливо пообещала:

— Напишу, завтра же напишу, тем более, что я перед ней виновата...

— Ты? Перед Анной?

Клавдия повернула к нему лицо, бледное в темноте.

— Помнишь, ты посылал телеграмму: «целую Анну, детей...» Я думала...

Она загнулась и смолкла.

— Детей! — Павел засмеялся и шутливо всплеснул руками. — У меня — дети?

Он с трудом припомнил о своей телеграмме, ведь это было так давно! Значит, Клавдия с того дня молча мучилась нелепыми мыслями об Анне.

Он заботливо поправил шинель на плечах у Клавдии, с нежностью покачал в ладони ее тяжелую косу с бантом на конце. Да ведь он еще и не любил по-настоящему! Это вот — теперь...

Но сказать об этом Клавдии почему-то было очень трудно. Павел только взял ее руки, вздохнул и вдруг сказал, улыбаясь в темноту:

— Хочешь, об отце расскажу? Он меня в однолюбье произвел.

И он рассказал, как однажды, — это было года через два после смерти матери, — он, Павел, зачем-то прибежал в кухню, и отец, заметно подвыпивший, подозвал его к себе и, взяв за подбородок, неожиданно сказал:

— Однолюб ты, Пашка, будешь... Как и я — однолюб. Вот ушла от нас мать, и будто крыло у меня отпало...

...Клавдия явственно, будто воочию, увидела эту несложную сценку: большой, грузный, тоскливо-захмелевший человек сидит на лавке, а мальчик смотрит на него и, не понимая, по-своему мучается отцовской печалью. Только теперь Клавдия осознала, что Павел вырос без матери. Какое же это несчастье!

Она хотела сказать об этом Павлу, но застеснялась.

Павел тихонько высвободил руку и в темноте, как слепой, провел пальцами по ее лицу, по худенькому плечу.

— Значит, это — мое?

Клавдия кивнула головой, — он скорее почувствовал, чем увидел это, и осторожно задержал пальцы на худеньком ребяческом локте.

— А ты не ошибаешься, Клавдия?

— Нет. — Клавдия шевельнулась и, почти перестав дышать, положила голову ему на плечо. — Нет!

...Так и пролетела на бесшумных крыльях эта летняя ночь, в которой все было недостоверно, как сон, и в то же время необыкновенно отчетливо навсегда вошло в память: мягкий лепет травы, и нависшие над прудом темные кучи деревьев, и чистое небо, ставшее теперь страшным для людей, и железный грохот эшелонов, который отдавался в сердце. «Запомни это — каждый звук, каждую былинку у ног...» — повторяла себе Клавдия и — не могла открыть глаз в каком-то блаженном полусне: теплое жесткое плечо Павла, его сильные и нежные руки, — вот что было сейчас главным в ее мире...

На рассвете лагерь подняли, бойцы наскоро умылись, получили хлеб, построились и зашагали к вокзалу.

Женщины, и среди них Клавдия, дрожащая в ознобе, пошли сзади, в некотором отдалении, прямо по высокой росистой траве. Клавдия слышала и не слышала скрытного всхлипывающего, тихий отрывистый разговор. После бессонной ночи слегка кружилась голова и было ощущение странной невесомости во всем теле. Впереди то один, то другой боец вдруг оглядывался и долго шел неловко, одним плечом вперед.

— Твой глядит, — шептали тогда жене бойца.

— Сердечушко родимое!

— Но плачьте, слышите?

— Проводим по чести, а тогда уж...

Клавдия закусывала губы от жалости к подругам. Но вот оглянулась и Павел. Немолодая женщина, с большим бледным ртом, тронула Клавдию за локоть:

— Твой, твой...

И Клавдия, как и все, улыбнулась Павлу и помахала ему рукой.

В этот момент ей почудилось, что в стороне от всех, около низкого кустарника, стоит ее мать в темной праздничной шали и с тяжелым свертком в руках.

Клавдия удивилась, хотела оглянуться на кустарник еще раз, но тотчас же забыла обо всем: бойцы уже вступили на Вокзальную площадь, и тут Павел взял ее под руку и они вышли за станцию.

В поле рассыпались ребяташки, — они собирали букеты для бойцов, — безжалостно, с корнем вырывая свежие, утренние цветы.

— Простимся здесь, — сказал Павел, крепко держа ее за руки. Он так долго, молча, жадно смотрел на нее, что у нее выступили слезы на глазах. Тогда он сдвинул каску, поцеловал ее в дрожащие приоткрытые губы и закрыл глаза.

Клавдия растерянно положила ему руку на плечо, рука соскользнула, и Клавдия почувствовала, как под ладонью сильно и неровно бьется его сердце.

— Клавдия... — сказал он и открыл глаза, светлые и чистые: — Когда-нибудь, лет, может быть, через сорок, я приведу тебя вот сюда и скажу: «Здесь, Клавдия, милая, мы начали нашу жизнь».

— Лет через сорок, — с удивлением повторила Клавдия. Она решительно не могла представить такого срока.

— Па ва-го-нам! — донеслась с вокзала резкая команда.

Клавдия шагнула к Павлу, губы у нее покривились. Он схватил ее в охапку, бережно поцеловал в оба глаза, потом — уже торопясь — в щеку, потом слегка оттолкнул, махнул рукой и, придерживая саперную лопатку, побежал на вокзал.

На перрон уже не пускали. Бойцы, один за другим, отрывали от себя женщины, ребят и, посурвав лицом, быстро взбирались в теплушки, убранные свежими березовыми ветвями. В руках бойцы крепко сжимали винтовку и букет полских цветов. Женщины плотно стояли за полосатой оградой. Никто из них действительно не плакал, и когда одна женщина не выдержала и вскрикнула, ее тотчас же сурово загородили спиннами и заставили замолчать.

Тут паровоз загудел, запыхтел, выпустил пары, вагоны дрогнули. и березовые ветви на них за-

тряслись, как в лихорадке. В одном из вагонов вспыхнула песня, — теперь ее пели одни мужские голоса, — в другом заиграл баян с колокольцами, и состав сначала медленно, потом все ускоряя ход, двинулся мимо берез, мимо вокзала, мимо огромной толпы провожающих. Клавдия, как и все, махала платочком и вся тряслась от волнения, тщетно пытаясь улыбнуться. Павел высунулся из теплушки, взмахнул букетом, глаза его неясно блеснули из-под каски, — и больше она его не увидела.

Тотчас же с необыкновенной отчетливостью она поняла, что стоит одна, в толпе таких же одиноких женщин. Кто-то, задыхаясь, принялся причитать позади нее, кто-то вскрикнул и заплакал в голос. Тонкий, долгий укол вдруг осознанной боли был так нестерпим, что она побелела, закусила губы и опустила бы прямо на камни, если бы сильные руки не подхватили ее подмышки. Она подняла голову и сквозь слезы увидела спокойное желтоватое лицо матери. Тут силы ее совсем покинули, она уткнулась в грудь матери и дала надеть на себя пальто. (Это, значит, ее пальто держала мать, стоя у кустарника!) Они выбрались на перрон, перешли через пути и медленно побрели домой. Мать все еще держала Клавдию за руку и ни о чем не спрашивала.

— Теперь ничего, мама, — первая виновато сказала Клавдия. — Я очень озябла.

— Виданное ли дело — в платишке одном. Нынче весна ведь поздняя.

В голосе матери послышался укор, и она почему-то очень тяжело дышала.

— А ты давно пришла... туда? — спросила Клавдия, не смея поднять головы.

Мать, по старой привычке, вытерла сухие глаза и мягко усмехнулась.

— Мама! — крикнула Клавдия и, вся в слезах, плача и смеясь, кинулась к матери, — та отступила и даже подняла руки, как бы защищаясь.

— Собьешь ведь, дурочка. Слушай-ка, чего скажу. Было что-то такое в серых влажных глазах матери, что остановило Клавдию. И она мгновенно стихла.

— Может, не по-матерински я делаю, — с торжественностью начала мать, но осеклась и, как бы стыдясь, скороговоркой добавила: — А только за тридцать-то пять лет я такой ласки от отца не помню. Скрытная ты, в меня.

Клавдия с робостью глядела на бледное, большеглазое, твердое лицо матери. Впервые мать говорила с ней, как женщина. Значит, — пришло время...

— Ну, теперь рассказывай, — властно сказала мать.

Клавдия вздохнула с облегчением: она готова была раскрыть матери самые свои потайные мысли.

— Ему уже двадцать лет, — начала она, торопясь и не замечая лопкой усмешки матери. — У него отец — машинист старый, живет за Москвой, на такой же вот станции. Даже пруд там такой же. Его комсомол сюда прислал, работать, — то есть Павла.

— А мать у него где же?

— Померла.

— А-а... — слова глуховато и значительно протянула мать.

Клавдия подождала, но мать молчала, глядя себе под ноги.

— На войну он пошел добровольно. Его в военную школу определяли, да он сам не захотел: война, говорит, самая лучшая школа для бойца.

— Видать, хороший человек.

— Он вернется, мама.

Мать медленно покачала головой. Клавдия вся вспыхнула.

— Обязательно вернется!

— Ну-ну. Дай-то бог.

Они стояли у своих ворот. Мать медлила отворять калитку. Клавдия поняла, что дома мать не скажет больше ни слова. Тогда она внезапно осмелела и взяла мать за руку.

— Пойдем, ты устала.

Мать, к ее удивлению, покорно вошла во двор.

10

Мать уложила Клавдию в постель и закрыла ставни.

Клавдия быстро уснула. Но сон был настолько тревожным, что она проснулась, как ей показалось, почти тотчас же.

Рассеянно взяв сверток с ужином, поданный матерью, она отправилась на вокзал.

Когда она подошла к путям, со станции как раз тронулся длинный состав. В широко раскрытых дверях теплушек стояли и сидели, свесив ноги, красноармейцы. Клавдии показалось, что все они смотрели на нее. Она невольно оправила волосы и оглянулась. Она действительно стояла одна среди широкой улицы. Теплушки, грохоча на стыках, плыли и плыли мимо нее. Вдруг один красноармеец, очень молодой, бритоголовый, высунулся из двери и нерешительно махнул ей рукой. Должно быть, в теплушках увидели, как худенькая боль-

шаглазая девушка, прижав руки к груди, шагнула к самой линии, потом сорвала с себя косынку, — желтенькую, в горошек, — и принялась пристально ею размахивать. Тогда множество рук ответно замахало ей. Клавдия стояла с костью в руках, пока последний вагон, тускло блеснув сигнальным фонариком, не скрылся на повороте. Клавдия, по старой привычке, зашагала прямо по путям, — вокзал белел прямо напротив улицы. Тут ее остановил резкий окрик:

— Куда? Назад!

Клавдия испуганно остановилась. На тормозе платформы, сплошь затянутой брезентом, стоял часовой. Он смотрел на Клавдию с раздражением и, как ей показалось, даже со злостью.

— Не видишь? Ступай к переходу!

— Да мне ведь на службу, вот туда, — просительно сказала Клавдия, показывая на вокзал.

— Еще разговаривать будешь! — уже и в самом деле со злостью зарычал часовой и, подняв винтовку, щелкнул затвором.

Клавдия съежилась и молча повернула назад, обиженно, спиной чувствуя пристальный взгляд часового и дуло его винтовки.

По широкому дощатому переходу двигался народ, — женщины с ребятишками на руках, бойцы в своих касках, красные и потные от жары, озабоченные железнодорожники, множество крикливых мальчишек...

На перроне, у вокзального садика, пристроился предприимчивый уличный фотограф, или, как его здесь попросту называли, — «пушкарь». Сейчас перед его трехногим аппаратом стоял, робко улыбаясь, молодой красноармеец с белыми, выцветшими, деревенскими волосами. За спиной у красноар-

мейца грубо зеленела «декорация» — озеро с лебедями. Наверное, этот последний мирный снимок будет отправлен в далекую деревню, с какой-нибудь неумелой и очень ласковой надписью...

Клавдия медленно шла по шумному перрону. Маленькая родная станция, знакомая, казалось, до последнего камешка, снова и снова вставала перед ней — неожиданная, интересная и какая-то немного страшная. Клавдия озиралась по сторонам с молодым, жадным любопытством.

Только сейчас она увидела, что со всех платформ длинного эшелона, неподвижного и затянутого брезентом, глядят жерла орудий — короткие, могучие, старательно и густо замаскированные увядшими березовыми ветвями... Так вот почему был так строг сердитый часовой!

Клавдия бережно обходила стоявших у путей женщин в чистых праздничных платьях. Глаза у них были неподвижны и темны от горя. Клавдия подумала о том, что всюду — от Тихого океана, где служил Сергей и куда нужно было ехать поездом двенадцать суток, и до Черного моря — сейчас вот так провожают молодых мужчин, отцов, братьев, мужей.

Она пыталась представить себе эти пространства лесов, могучих рек, гор, но воображение ее бессилно останавливалось. Это и была ее, Клавдия, родина. Мысль эта была огромной, не совсем понятной, щемящей...

Так она добрела до вокзала, взволнованная, смутная, — и вдруг, в дверях телеграфа, столкнулась с Яковом. Ее поразило пепельно-серое и какое-то измятое лицо Якова.

— Я думала, ты дежуришь за Марью Ивановну, — сказала она, стараясь поймать его взгляд.

— И свои-то часы не высидел, — угрюмо про-
бормотал он и, чуть помедлив, добавил: — Мне
повестка пришла.

— Ну?

— Ничего еще не знаю... Не должны бы взять:
у меня ведь прыжа.

— Грыжа?

Клавдия имела очень смутное и какое-то смеш-
ное представление об этой болезни. Она и сейчас
невольно улыбнулась: Яков был до того стран-
ный, потерянный, со своим пепельным лицом и
ужкользящим взглядом, что она даже слегка
толкнула его и насмешливо сказала:

— Ну, иди со своей грыжей... А Павел уже
уехал. На войну.

Тотчас же забыв о Якове, она потянула дверь
телеграфа почти со страхом: Марья Ивановна, зна-
чит, дежурит здесь со вчерашнего утра, более
тридцати часов!..

Марья Ивановна не оглянулась на стук двери.
Она сидела, привычно склонившись над аппара-
том, и палец ее лихорадочно дрожал на ключе.
Клавдия подошла робко ступая на цыпочках.

Марья Ивановна кончила прием телеграммы и
взглянула из-под пенсне маленькими светлыми
воспаленными глазками.

— Бойтся, — сказала она, и Клавдия сразу по-
няла, что Марья Ивановна говорит о Якове. —
Бойтся, с ночи меня мучает, — возьмут, не возь-
мут. Вот подлец!

Она поднялась, желтая, сморщенная более обыч-
ного, с распутившимся «навесом» блеклых волос,
шатаясь на затекших ногах.

— Вы ведь сейчас упадете, Марья Ивановна! —
вскрикнула Клавдия и невольно расставила руки.

— И? — твердо и обидчиво усмехнулась старуха. — Нет, не упаду. Это Яков скорее упадет.

«Трус», — позорность этого понятия медленно, ягуче, ошеломляюще входила в Клавдию. Она невольно оглянулась на дверь и вся залилась румянцем: ведь и в самом же деле Яков — трус, как она не поняла этого сразу?

— Мне бы мою молодость сейчас, молодость, — настойчиво проговорила Марья Ивановна и закивала встрепанной головой. — Ну, ничего, ничего. Сладим и так. Клавдия! — громко и строго сказала она, на всякий случай опираясь рукой о стол. — Я уж пойду теперь спать, а ты — гляди, девушка!

Судорожно зевнув, она подправила ладошкой свой «навес» и скороговоркой закончила:

— Яшку в ночную не пускай. Он — расстроенный, еще напутает нам тут. Посиди уж ночь-то. А завтра с утра я сама за ним пригляжу.

— Все сделаю, Марья Ивановна, — горячо ответила ей Клавдия. — Для вас!

— Это как — для меня? — старуха сняла пенсне и близоруко сощурилась.

— Нет, конечно, для всех, но... — неловко поправилась Клавдия.

— То-то, — проворчала Марья Ивановна и уже миролюбиво спросила: — Проводила, что ли, своего товарища?

Клавдия жалобно взглянула на нее и опустила голову.

— Вот для них, для таких вот бойцов, и работай. А я — што..

Оставшись одна, Клавдия вздохнула и несколько минут сидела неподвижно. Она словно впервые пришла сюда, в тесную солнечную комнатку с

пыльным корявым фикусом в углу. Все здесь вокруг стало для нее новым и значительным. Аппарат таинственно побряхтывал, узкая бумажная лента, дробка, ползла на пол. за дверью смутно, многоголосо пудел вокзал.

Белые бланки телеграмм, чистая лента в аппарате, раскрытый журнал, перо, второпях брошенное на край стола, — все взывало к труду.

Клавдия принялась было убирать на столе, но услышала позывные и, волнуясь как на экзамене, начала прием. Это была длинная телеграмма, наполненная непонятными цифрами, — и Клавдия поняла, что телеграмма эта важная, военная.

Потом, обернувшись, она увидела в окошечке лицо красноармейца, розовое от нетерпенья: очередь успела образоваться, пока она принимала телеграмму.

Клавдия вступила в свой рабочий день легко и жадно, без обычной раскочки. Никогда еще она не испытывала такого чувства собственной нужности, значительности. С первой же минуты она работала быстро, отчетливо, увлеченно, как будто ее все время подымало на волну. И, должно быть, лицо у нее было разгоряченное и приветливое, потому что посетители у окошечка застенчиво улыбались ей, шутили, отходили неохотно. Последний в очереди парень вытащил из бокового кармана гимнастерки небольшую записку.

— Вам, извиняюсь, не Сухова фамилия будет? — спросил он, уже подавая ей записку. — Митина жена вам прислала. Матушке то есть вашей.

— Спасибо, — не сразу, с непонятной стесненностью ответила Клавдия, рассеянно кладя на стол самодельный треугольный конверт. Она как

будто даже и не расслышала, — кто же прислал записку?

— Вот, значит, все я исполнил, — с удовлетворением сказал красноармеец и протянул Клавдия в окошечко широкую ладонь. — Очень уж просцла. Затем — до свиданья.

— До свиданья! — спохватилась Клавдия и немного задержала его руку. — Возвращайтесь с войны.

— Постараюсь, — усмехнулся красноармеец и нахлобучил шилотку.

В тот же момент Клавдия поняла, что этот плотный голубоглазый человек чем-то очень остро напомнил ей Павла.

Она порывисто вскочила, — письмо упало на пол, — и высунулась в окошечко. Но парень уже скрылся в вокзальной сумятице.

Так и не вспомнив о письме Елены, Клавдия принялась за передачу телеграмм. Собственно, от Павла уже могло бы прийти первое письмо, с дороги...

Она недовольно сдвинула брови и заставила себя сосредоточиться на отчетливом постукивании аппарата.

За стеной бессонно шумел вокзал. За окном, наглухо закрытым синей бумагой, то и дело нарастал тяжелый железный прохот, неудержимо приближалось горячее ритмическое фырканье паровоза, и тогда все здание вокзала, сверху и донизу, начинало дрожать мелкой дрожью...

На рассвете явился Яков — свежий, прославшийся, в новом сером костюме. Его не взяли, и он сразу стал прежним.

Клавдия изо всех сил удерживалась от дремоты, самолюбиво таращила сонные глаза и пробовала даже презрительно усмехаться. Но усталость

была так велика, что она ощущала в себе только одно яростное желание — спать!

Яков поднял с полу и подал ей обрonnenое письмо, и она, тяжело прихрамывая, пошла к двери.

Мать встретила ее у ворот и втащила в кухню почти на руках. Клавдия смиренно уселась на широкой скамье и, сквозь дремоту, с глухим удивлением думала, что здесь, дома, все было попрежнему, как будто ничего не случилось. Отец еще спал. На кухне, как всегда в этот час, топилась русская печь и отсветы огня мирно играли на белой стене. Мать привычно сновала по кухне, и под ней слабо и уютно поскрипывали половицы. Кошка, выгибая спину, подошла к Клавдии и, взглянув на нее желтыми лъстивыми глазами, принялась мурлыкать и тереться носом о колени.

— Вторую ведь ночь не спишь, глупая, — укоризненно сказала мать, повернув к Клавдии воспаленное от огня, но ласковое и спокойное лицо.

— Зато, мама, я сегодня работала, как песню пела, — громко сказала Клавдия: в ушах у нее звенело, и ей казалось, что мать ничего не услышит. — Вот только бы Яков чего-нибудь нам не напутал... — ревниво и с гордостью подчеркнула она «нам». — А теперь я и всегда так буду работать, — война ведь, мама!

Она подняла палец, как это делала Марья Ивановна, — и вдруг увидела письмо, крепко зажатое в кулаке.

— Да, мама! Вот тебе письмо.

Она старательно расправила смятый конверт и положила на стол.

— От кого?

Мать подошла, вся насторожившаяся, и недоверчиво взглянула на конверт. Читала она только в

очках, да и то с трудом, к тому же очки всегда куда-то терялись.

— Зачти-ка, — сказала она Клавдии, сдерживая шумное дыхание.

— Это — от Митиной жены, — пробормотала Клавдия, пробегая крупные кривые строки.

— Ну-ка, — нетерпеливо торопила ее мать.

— «Дорогая уважаемая Матрена Ивановна. Пишет вам Елена, жена Димитрия Сухова. Так что я стала прихварывать. Ребенка соседи призрели. Повидаться нам бы надо, приезжайте, очень прошу и очень. Митя уехал на линию, и теперь ничего неизвестно. Время какое, сами знаете. Приезжайте, а то я хворало. Шлю вам витецкий поклон, известная вам Елена».

Мать бессильно опустилась на стул.

— Зачти-ка еще раз. Чего-то в голову ударило.

Клавдия отдельно прочла записку еще раз.

— То-то я ее третью ночь подряд во сне вижу, — сипло сказала мать: — сердце сердцу весть подает.

Она бережно приняла от Клавдии письмо и положила его за божницу.

11

Матери казалось, что она не испытывает ни удивления, ни испуга: не первую войну она видела в своей жизни, не в первый раз читала белый листок о мобилизации. Отчетливо и печально, во всех подробностях, она вспоминала японскую войну, — тогда они с Диомидом были молодоженами, — и войну тысяча девятьсот четырнадцатого года, — тогда Диомид не взяли в армию, как железнодорожника. Теперь, думала она, он — стар,

сын же Сергей служит в Дальневосточной армии, а Дмитрий освобожден по чистой из-за плоской ступни. Разбе вот зятя пойдут на позицию, да ведь зять — не сын...

Она старалась как можно дольше сохранить в доме мирную тишину и спокойствие. Так же, как и прежде, семья молчаливо встречалась за столом, цепному псу выносилась его глиняная чашка со щами, двор чисто выметали по утрам, грядки в огороде поливали тщательно и спать ложились сразу же после вечернего чаепития.

Внимательно и сочувственно смотрела Матрена Ивановна, как уходили на войну мужчины с ее улицы. Она кланялась им уважительно, по-деревенски, целовала их, даже плакала, но душа ее, в сущности, оставалась спокойной.

Ее напугала и удивила только первая воздушная тревога. Война загоралась, как пожар, на всей земле и была но похожа на прежние войны: граница между «позицией» и далекими мирными городами была сразу же потеряна, и, значит, ныне будут воевать и женщины, и дети, и старики... «Старикам-то надо бы до войны помереть, они и так тяжело несут, а тут еще лишние зарубки на сердце...» — думала она, как бы в предчувствии огромного горя, идущего ей навстречу...

Упрямо и осудительно она смотрела, с каким неистовым старанием старик и Клавдия роют узкую щель на огороде. «Могилу, что ли, сами себе готовим», — хотела сказать она, но сдержалась: в последние годы она чувствовала себя опорой в доме и знала, что ей нельзя падать духом.

В одну из долгих тоскливых ночей, когда над городком снова пролетали немецкие самолеты, она, лежа в постели и слушая прерывистые гудки па-

ровозов, поняла полную бесплодность своих стараний сохранить нерушимое спокойствие в доме. Разве могла она, старая, одинокая, слабая, противиться войне, которая могуче и жестоко вошла в каждую жизнь, в каждое сердце, в каждую минуту дня и ночи.

И вот тогда в ней с непреодолимой силой возникла мысль о семье. «Теперь бы собрать под одну крышу всю семьюшку. Не такое время, чтобы в разных гнездах гнездовать. Дочери, положим, — отрезанный ломоть, Сергей — далеко, а вот — Димитрий, Елена да внучка...»

Утром, за завтраком, она хотела сказать старику о своих ночных мыслях, но, посмотрев на его сонное, одутловатое лицо, очень постаревшее за неделю войны, привычно промолчала.

Выпив свой чай, Диомид Яковлевич взял метлу в сенях и вышел во двор, однако скоро вернулся и молча стал копаться в своем кованом сундучке, с которым когда-то отправлялся в поездки. Он что-то искал и, как видно, не находил.

— Мать, — несколько смущенно сказал он, — да где же мой свисток-то? Кондукторский?

— Должен быть там, в сундучке, — удивленно отозвалась старуха. — На што он тебе понадобится?

Диомид Яковлевич неохотно объяснил, что квартирантка увозит маленького Морущку в эвакуацию и что мальчишку надо на прощанье позабавить подарком.

— Своих-то, небось, не забавлял, — глуховато, с обидой сказала Матрена Ивановна. Она мельком взглянула на молчавшую Клавдию и с нескрываемым раздражением добавила: — Убил бы, небось, за свисток-то.

Старик, как видно, нашел свисток. Ничего не ответив, он виновато ссутулился и выскользнул из кухни.

Через несколько минут на крыльце радостно затопотал квартирантский Морушка. Было слышно, что он изо всей силы дул в свисток, но никакого звука у него не получалось.

— А ты полегше, — терпеливо объяснял Диомид Яковлевич. — В рот-то совсем не забирай, а вот так...

Он свистнул на весь двор, произительно, залиvisto, и Морушка счастливо засмеялся.

— Смотри-ка, отец-то на старости лет какой стал, — не то насмешливо, не то задумчиво сказала Матрена Ивановна и снова неохотно взглянула на Клавдию.

Клавдия угадывала и поздний гнев и бесполезное сожаление в недосказанных словах матери. Ах, если бы это просветление пришло раньше, до того, как отец перекарежил судьбу всей семьи! Ужаснее всего то, что отец жил или, вернее всего, считал, что живет для детей. Он гордился тем, что за всю свою жизнь не выпил на свои деньги ни капли водки, но покатался лишь один раз на ярмарочной карусели, никогда не ходил в трактиры или в театры. Он жил в долголетнем каторжном труде, яростно накапливая рубли. Целью его жизни были дома, которые он, еще смолоду, решил выстроить на своей усадьбе с тем, чтобы ониместили не только наличную его семью, но и будущих снох и внуков. К концу первой войны с немцами он осуществил упрямые замыслы, и два дома, одинаковые, как братья-близнецы, встали на его подворьи, собранные из несокрушимо-толстых бревен.

Тут как раз пришла революция. и он, человек, которого в поездах почтительно звали главным кондуктором или просто «главным», вдруг испугался и на некоторое время потерял свою уверенную и властную осанку. Он стал даже уклоняться от поездов, которые благодаря искусной системе кондукторских взяток были причиной его постепенного обогащения. Но ему пришлось все-таки поехать и с красными и с большими эшелонами, и однажды он даже угодил в перестрелку и, уstraшенный насмерть, лежал на полу вагона вместе с красноармейцами.

Именно в этот тревожный год старшего сына, семнадцатилетнего Сергея, точно ветром отнесло от дому. Мать долго покрывала «озорство» сына, плакала, молилась втихомолку. Ничто не помогло. Однажды, вернувшись из поездки, отец лицом к лицу столкнулся с Сергеем — и не узнал его. Среди залыцы, в длинной шинели, застегнутый на все пуговицы, стоял высокий, плечистый парень с холодноватым и насмешливым взглядом больших глаз. Разговор, крик, ссора, плач матери ни к чему не привели. Сергей — комсомолец и красноармеец — уезжал с продотрядом в далекую степную деревню, на родину матери. Отец на прощанье хотел вытянуть Сергея собачьим арапником по плечу, но сторяча промахнулся, и крученный конец арапника врезался в щеку парня, около румяного рта. Сергей не крикнул, только пристально взглянул на мать и, зажав ладонью раненое лицо, ушел навсегда.

Тогда Диомид Яковлевич быстро оправился от потрясения, потому что дела его наладились по причине голодного года. Это были хорошие времена: эшелоны шли, переполненные мешочниками,

и взятки потекли в руки «главного» с невиданной щедростью. В этот год он покрывал дома жестью, поставил новый забор и купил породистую корову. Он даже по-старчески раздобыл в теле, и в его квадратной бороде сверкнула первая благостная седина. Ему казалось тогда, что несчастьям настал конец.

И тут второй его сын, — тяжеловатый в плечах, медлительный и угрюмый Димитрий, — при всей семье, расчетливо и хладнокровно назвал его спекулянтom и собственником и ушел из дома, тоже — навсегда и перед расставаньем долго, с нежной пристальностью, смотрел на мать.

Мать... Диомид Яковлевич привык к ее безгласной покорности, немало бивал ее, равнодушно глядя на ее слезы: смолоду, от отцов, ему известно было, что бабы слезы — вода...

В поездках он почти никогда не думал о ней. Он просто знал, что непременно и скоро увидит ее — хмурую, обыкновенную, в ее засаленном фартуке среди детей. Когда же сыновья ушли, она стала молчаливо и требовательно поглядывать на него своими большими замученными глазами, — и он плевался и топал ногами, не зная, что ей сказать.

Старших дочерей он поторопился выдать замуж, определил им немалое приданое и, злобно и навсегда отрывая от дому сыновнюю долю, впервые напился пьяным и тяжело плясал на обеих свадьбах...

Димитрий долго колесил по соседним городам, жил в Москве, но вконец, — было слышно, — обосновался на станции Лес, недалеко от Прогонной. Тогда Диомид Яковлевич еще ездил кондуктором, и он стал слезать с поезда на этой станции и —

тучный, усатый. с квадратным лицом полицейского урядника — ходил до последней минуты вдоль состава, ни на кого не глядя, ни с кем не разговаривая. Он ждал, что к нему подойдет наконец сию Минтыка, испрасит прощенья или же просто поздоровается...

В тридцать втором году у Сухова отобрали дом, перевели квартирантов на коммунальную оплату, а самого Дюмида Яковлевича едва не лишили права голоса. Старик был почему-то твердо уверен, что все эти беды наделал ему Дмитрий, и теперь думал о младшем сыне, как о выродке, с удивлением и злобой.

Весть о старшем сыне привезли дальние родственники Матрены Ивановны. В тридцатом году Сергей агитировал за колхозы, и на одном из богатых степных хуторов его пытались убить: избушку, где спал Сергей и трое его товарищей, хозяева хутора ночью подожгли. Сергей проснулся первым, разбудил товарищей, и все четверо выпрыгнули через окно прямо в огонь и убежали в степь.

После того Сергей сгинул куда-то, и не скоро старики узнали, что он уехал на Дальний Восток.

Года через три после этого старик уволился с железной дороги, получил пенсию и окончательно затих и присмирел.

Жена, которая была лет на двенадцать моложе его, мало-по-малу подняла голову, стала властно покрикивать на старика, жестко осаждала его раз и два, пока он не понял, что получает теперь кусок хлеба из ее рук. Тут он и приобрел робкую хрипотцу в голосе, взгляд его потускнел и странно не соответствовал грузным, круто развернутым, начальническим плечам. Жизнь его стала

монотонной, дни были неотвратимо похожи одна на другой, и не было никакой возможности и никаких сил изменить их медлительное течение.

В последнюю предвоенную весну Матрена Ивановна заметила, что старик совсем попрустнел и почему-то подолгу, со странной пристальностью, наблюдал за шумными играми сына квартирантки, глухого, курносого Морюшки.

Но особенно помрачнел и растерялся старик в первые тяжкие дни войны: он стал горбиться, часто не отвечал на вопросы и только нерешительно усмехался...

Утрами, просыпаясь, он, по старинной привычке, с размаху вставал на ноги, причем его голые задубелые пятки припечатывались к полу с каким-то металлическим стуком. Бывало, от этого стука в доме начиналось утро...

Теперь же дом не откликался ему ни единым звуком, спешить было решительно некуда, и он неторопливо одевался, завтракал, брал у жены гривенник и отправлялся в киоск за газетой. Возвратясь домой, он усаживался на жестком диванчике, надевал на мясистый нос очки и начинал читать медленно, с неправильными, смешными ударениями.

Клавдий оставалось неизвестным, понимал ли старик что-нибудь в газете, потому что разговоров о прочитанном он не поднимал.

Была у старика и еще одна стародавняя обязанность: каждое утро он тяжело взлезал на скрипучий табурет и огромным, почерневшим от времени ключом заводил часы с кукушкой. Раньше эти часы шли с одним заводом целую неделю. Теперь пружина в них ослабела, они тикали с легким похрипыванием, словно с одышкой. И все же

в положенный срок пружина с протяжным звоном выпалкивала на точеный карнизец облупленную, безносую и какую-то замученную кукушку. Этой кукушкой пугали всех детей в доме Суховых. Дольше всех боялась ее Клавдия, но потом и она поняла, что бедная кукушка совсем не страшна и, сколько она ни кукуй, ничто не переменится в доме...

12

Нет, не кукушка, а письмо снохи возвестило перемену в жизни Матрены Ивановны и Диомиды Яковлевича. Получив это письмо, Матрена Ивановна твердо решила: «Возьму внучка к себе под крыло». Она уговорилась с дочерью о поездке к снохе, Клавдия отпросилась на телеграфе, и вот ранним июльским утром мать и дочь отправились на вокзал.

Железнодорожное расписание перестало действовать с первого же дня войны, и они только к полудню изловчились сесть в поезд, идущий на Москву.

В жарком и запыленном вагоне было много женщин с детьми. Маленькая, бледная, видимо, хворающая женщина, лежавшая на скамье у самой двери, сказала, что это вагон спецназначения. Матрена Ивановна испугалась незнакомого слова и несмело прилепилась на краешке скамьи. Клавдия остановилась в проходе, прислушиваясь к негромкому разговору в соседнем купе.

- А мы на Советской жили.
- Можно сказать, соседи.
- Это птице с гнезда слететь, а человеку...
- Я тоже сначала убивалась.
- Подумать только, милая, еще неделю назад...

— Как сейчас помню, мы в театре с мужем были.

— Ведь всего неделю назад...

— Ах, оставьте, милая, лучше об этом не говорить.

«Они едут оттуда, с войны», — вдруг догадалась Клавдия и шагнула вперед. Никем не замеченная, она остановилась у боковой скамьи, во все глаза глядя на женщин и почти дрожа от жалости.

Между тем Матрена Ивановна осторожно спросила у соседки, — кто они такие и откуда едут.

— Из Минска мы, — ответила маленькая женщина.

— Беженцы, значит, — заметила мать своим прудным, жалостливым голосом.

Женщина села, машинально пригладила волосы и неохотно подтвердила:

— Да, мы эвакуированные.

Мать не поняла слова и уважительно промолчала.

Тогда женщина, словно пересилив себя, придвинулась к матери и объяснила тихой прерывистой скороговоркой:

— Нас прямо из-под бомб увезли. В чем были, в том и выскочили. Разуты, раздеты. Мужья у многих у нас — командиры, побежали в часть, а мы — на поезд. У меня вот и проститься не успел. Вы, тетюшка, ни о чем больше не спрашивайте: ни к чему.

Женщина зябко повела худенькими плечами и добавила странно-ровным голосом:

— Я, видите, бездетная. Одна голова, нигде не бедна. А вот эта... — она показала глазами вверх, и мать увидела на верхней полке женщину, лежавшую неподвижно лицом к стене. — Эта — детей

растеряла. Поняли, тетушка? Смотрите, не спросите ее о чем: не в себе она.

Матери очень хотелось узнать, — сколь малы были ребята, двое их пропало или больше, — но она не смела раскрыть рот и только пристально, с ужасом смотрела на немую, словно окаменевшую фигуру женщины.

Потом мать принялась развязывать узелок. Пальцы не слушались ее она развязала узелок зубами и пошла по вагону, рассовав детям едобные пышки и куски сахара. Потом она вернулась, отпрянула платок и тихонько набросила его на ноги лежавшей наверху женщины. Та, кажется, ничего не слышала и даже не обернулась.

Больше всего пугало мать именно это молчаливое беспамятство горя. По опыту своему она знала, что только в очень большом и непоправимом горе человек так беспамятеет, гложнет, деревянеет и что, может быть, только поэтому человек не теряет разума.

Она тихонько позвала Клавдию. Та вышла из соседнего купе с побледневшим, тревожным лицом.

— Мама, это — эвакуированные, — шепнула она, примостившись рядом с матерью.

Матрена Ивановна вздрогнула от этого недоброго слова.

— Знаю...

Поезд шел очень медленно и подолгу стоял на каждом разъезде, пропуская военные эшелоны.

Клавдия исчезала на каждой остановке, и, в ответ на сердитые замечания матери, только усмехалась и помалкивала. Мать думала о том, что Клавдия очень изменилась за эти дни. Она

как-то сразу повзрослела. разлука с Павлом не сломила ее и не убила в ней молодой жадности к людям. Что ж, — это хорошо: горе не должно пригибать человека к земле.

Матрена Ивановна отказывалась выйти из вагона: ей представлялось, что она непременно отстанет от поезда.

Но на одной из остановок мать поднялась, чтобы размяться, и подошла к окну. Она сразу увидела Клавдию: та стояла одна, в тени от вагона, и исподлобья внимательно всматривалась в теплушки, стоявшие на соседнем пути. Мать перевела взгляд, — в теплушках, на новых дощатых нарах, сидели и лежали бойцы. «Вспоминает, поди, своего», — с нежностью подумала мать и вздохнула.

На следующей остановке поезд задержался особенно долго, и мать решила выйти на волю.

Она степенно стояла у вагона, как у своих ворот, и внимательно наблюдала за всем, что происходит на перроне.

Из встречного эшелона высыпали красноармейцы, из поселка, что виднелся недалеко на зеленом заливном лугу, прибежали жители. На перроне все перемешались — эвакуированные в своей суматохе, сбивавшиеся из поезда и с разъезда, крестьяне из поселка, железнодорожницы, в своих фуражках с красными околышами, и опять — бойцы, бойцы..

Русый большеглазый красноармеец, проходя мимо матери, рассеянно взглянул на нее и вдруг приостановился, подошел к ней и сказал:

— До чего же вы, тетушка, на мою мамку похожая.

Мать ясно улыбнулась и ласково ответила:

— Ну и слава богу, лишний раз взглянешь.
Красноармеец не унимался:

— Нет, я правду говорю. Вот только у моей матери волос черный, а ты вон — седая. Уж как плакала моя matka.

— Еще бы, ведь ты, поди, один у нее. А не страшно, сынок, на позицию идти?

В больших глазах красноармейца прошла сердитая, твердая усмешка.

— Страшно?! Разве солдату можно страшиться!

В этот момент у головы эшелона прозвучала команда, и толпа на перроне дрогнула. Бойцы побежали к теплушкам. Мать крепко вытерла рот и разомкнула руки.

— Дай-ка обниму тебя, сынок.

Они крепко обнялись, троекратно поцеловались и прощально взглянули друг на друга, — у них действительно были одинаковые серые, пристальные глаза.

— Как звать-то вас, тетушка? Может, перед боем вспомнить придется, — спросил парень, и сухлые губы его обиженно дрогнули.

«Солдат», — благоговеино шепнула мать, глядя вслед парню сухими, блестящими глазами.

Только в сумерках Матрена Ивановна и Клавдия слезли на незнакомой станции и, усталые, голодные, долго бродили по пустынным улицам. Босоногий неразговорчивый мальчишка привел их к длинному, казенной постройки, дому, который, как оказалось, стоял у самой линии.

Матрена Ивановна не узнала сноху, — так она выхворалась, исхудала. Желтая до прозрачности, большеглазая, Елена слабо вскрикнула, увидев мать, и по-детски протянула к ней маленькие руки.

Мать вытерла слезы и украдкой оглянулась. Тогда Елена торопливо постучала в стену. Почти тотчас же соседка привела мальчика. Слегка косясь, он обошел вокруг бабушки, ткнул пальцем в ее руки, празднично сложенные на коленях, и засмеялся. Матрена Ивановна, пыхтя от волнения, полезла за пазуху и протянула внуку кренделек и кусок сахара. Мальчик цепко схватил гостинец, положил сахар в рот и доверительно поднял обе ручонки: «возьми меня».

Матрена Ивановна легко подхватила его на руки и, обретя с этой минуты свой обычный уверенный и властный вид, вся с головой ушла в хлопотные сборы.

— Да вы пустили бы его на пол, — слабо протестовала Елена, с удовольствием глядя на скупые и ловкие движения старухи.

— Ничего, — проворчала та. — Давненько на руках не держала. Да и своя ноша не тяжела.

И верно: она носила мальчишку по комнате с какой-то особенной, радостной легкостью, и тот сразу точно прирос к ее материнским, ласковым, опытным рукам.

Всю ночь они провели в душевной беседе, два раза подолгу пили чай, а на рассвете, нагруженные узлами и с сонным мальчишкой на руках, пришли на вокзал. Здесь они прочно расположились на широкой скамье. Елена прилегла и обессиленно задремала. Клавдия то и дело выбегала на перрон, и мать встречала ее нетерпеливым взглядом. Но поезда не было и не было. По однокольной дороге шли и шли на запад военные эшелоны. Мать долго рассеянно смотрела на вокзальную суету, прочитала по складам плакат о шептунах, с внимательным и серьезным любо-

пытством разглядела нарисованную на этом плакате женщину в шляпке набекрень и с непомерно длинным языком. Потом прочитала большой красный лозунг: «Наше дело правое, победа будет за нами», управила одеяльце на мальчишке и тоже, кажется, вздремнула.

Очнулась она внезапно, словно от толчка. Клавдия не было. К их скамье со всех сторон спешили люди. Мать с испугом взглянула на Елену, — не плохо ли ей? — но встретила ясный, удивленный взгляд снохи.

Только тогда до ее слуха донёсся отчетливый, торжественный, хрипловатый голос и какое-то настойчивое, ровное шипенье. Голос и шипенье шли сверху, мать подняла голову и увидела пыльный репродуктор: он висел как раз над их скамьей, и в него смотрели все подбежавшие люди.

Матрена Ивановна слегка потерялась, — ей очень редко доводилось слушать радио, — она норовливо крепко прижала к себе внучонка, и первые слова, произнесенные диктором, прошли мимо нее.

В тот же момент по всем людям словно прошла искра, они дрогнули, струдились. Елена тоже тихонько вскрикнула и вдруг села на скамье. Прошла томительная минута ожидания. И вот, в строгом молчании, возник негромкий голос, который невозможно было бы не услышать...

Мать вопросительно взглянула на репродуктор. Через толпу, настойчиво ее раздвигая, пробралась Клавдия и вцепилась матери в плечо горячими пальцами:

— Сталин, мама!

Матрена Ивановна совсем затревожилась, рывком спустила с себя шаль, освободила от платка

одно ухо. Главное — мешало это шипенье, настойчивое, хлюпающее, как будто там кипел самовар...

Сталин сказал очень внятно, раздельно и как будто с легкой одышкой:

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Матрена Ивановна даже оглянулась. Пассажиры, сбившись тесной кучкой, жадно смотрели в блестящий глазок репродуктора. Только одна старенькая женщина, что стояла у самой скамьи, все что-то возилась, запахивала полы мужского пальто, которое было ей очень велико, — и вдруг Матрена Ивановна увидела, что женщина плачет, кривя и кусая губы.

— Мама, ведь это он нам сказал — «друзья мои», — громко шепнула Клавдия в ухо матери, еще крепче вцепляясь в ее плечо дрожащими пальцами.

Мать молча склонила крупную голову: она слушала.

«...Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной нависла серьезная опасность...»

Мать тихонько положила ладонь на сердце, — очень больно оно стучало: так вот она, какая страшная война-то идет...

С прямою безжалостной, спокойной и мужественной Сталин сказал о поражениях Красной Армии и — после некоторой паузы — стал так же

спокойно и очень просто говорить о том, что немцев мы можем победить и непременно победим.

«...Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неутомим. Он ставит своей целью захват наших земель, полных нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом...»

Матрену Ивановну пронзило такое ощущение, что все это говорилось прямо и лично ей, старухе Суховой, держащей сейчас на руках самое дорогое свое детище — единственного кровного внучка...

«Да ведь я-то — што, — медленно думала она, с тревогой и смущением вслушиваясь в каждое сталинское слово: — мое дело такое — детей вырастила, а теперь воп — внучат растить...»

«...При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.»

«Уничтожать хлеб!» Мать тяжело опустила голову. С детских деревенских лет в ее памяти

жило отчетливое и страшное воспоминание об июльском лесном пожаре. Лес — насколько хватало глазу — был охвачен тогда густым рыжим дымом, то и дело разрываемым длинными языками пламени. Поток огня перекинулся на поля, рожь запылала сразу в нескольких концах: тяжелые, спелые, с золотистой остью, колосья металась под горячим ветром, а пламя пожирало их с жадным треском. Над полем стоял непрерывный высокий бабий вой, и старенький священник в полном облачении, плача от дыма, беспомощно взмахивал кадиллом...

А теперь вот, значит, надо будет уничтожать хлеб своими руками: топтать, жечь, ровнять с землей. Что может быть тяжелее крестьянскому сердцу?

Мать вздохнула, вслушалась. Сталин, не повышая голоса, спокойно и уверенно произнес последние слова:

«Все силы народа — на разгром врага!

Вперед, за нашу победу!»

Несколько минут люди еще стояли неподвижно, точно не решаясь заговорить, пошевелиться.

— Ко всему народу, видишь, обратился. Как есть, ко всему: к нам то есть. К каждому.

— Братья и сестры, говорит. Друзья мои.

Мать слышала и не слышала эти разговоры. Она оправдала шаль и сидела, опустив глаза, молчаливая, со сжатыми губами. Она думала о своем.

Если в самом деле Сталин обратился к каждому и, значит, к ней, к Матрине Суховой, — ну, что ж! Как яростная волчица, в час смертельной опасности, она встанет на пороге дома и своим телом защитит детей и внуков.

Ведь, наверное, и на поле боя, сквозь гарь и кровь, каждое утро все-таки подымаются и упрямо растут июльские травы и цветы.

Так, сквозь разрушение и смерть, какие опротно несет война, должна пробиться вот эта жизнь, что слабо бьется у нее на руках, и жизнь молодой Клавдии, и Елены, которым еще придется нянчить и голубить своих малых ребят.

И за это великое дело жизни мать будет бороться до последнего вдоха...

Тут за окнами вокзала закричали: «Поезд! поезд!» — и мать вышла на перрон, высоко подняв голову, спокойная и даже как будто радостная. Эшелон медленно подошел и остановился — пыльный, безлюдный, с закрытыми дверями и окнами. Проводница, спрыгнувшая со ступеньки последнего вагона, облизнула запекшиеся губы и неохотно ответила:

— На Москву. Пассажиров не берем.

— Раненые! — тихонько вскрикнул кто-то за плечом у матери, и она сама тотчас же увидела в окне забинтованную голову и глаза, смотрящие прямо на нее, — непристальные, в глубоких синяках, очень усталые.

Сердце у матери тяжело забилося, но она не опустила головы, не отвела взгляда. Теперь ее ничто не должно было страшить или удивлять, или отнимать у нее силы.

Она готовилась принять на себя, — не пропустить дальше себя, — всю беду, какая предназначена была семье Суховых в этой безжалостной и, наверное, долгой войне.

С того дня, когда мать и Клавдия привезли Елену с внучонком, в доме Суховых все изменилось. Дюмид Яковлевич встретил их на вокзале, — и мать не сразу узнала его. так он осунулся, так весь потемнел. Даже старая кбндукторская шинель повисла у него на плечах. Он хотел забрать весь багаж Елены, но мать пожалела его и дала ему только узел с периной. Шагая по улице, старик с потаенной робостью поглядывал на сонного внука, которого несла Матрона Ивановна, и протяжно вздыхал. Когда же все вошли в дом и Матрона Ивановна спустила проснувшегося мальчишку на пол и он затоптал по чинному зальцу, старики переглянулись, и у матери нестерпимо засияли глаза, а Дюмид Яковлевич растерянно отвернулся, и на виске у него вздулась темная жила.

Именно с этого часа в доме Суховых как будто сразу стало просторнее, светлее, проще и все заговорили полным голосом. Маленький Митенька со смешной озабоченностью лепетал около бабушки, и в комнатах весь день стоял ни для кого не досадный беспорядок.

Мать верила и не верила себе: к ней словно вернулась ее молодость, и не та, что давно прошла, а другая — счастливая. Где-то совсем близко, почти за стенами дома, шла война. «Ничего не боюсь, — думала мать, укачивая внука и слыша около себя ровное его дыхание. — Телом своим загорожу. В крайности — хитрить буду, угождать. А то — и с топором выйду».

Клавдию болезненно удивлял необычный покой в родительском доме и умиротворенное лицо матери. Тихая эта счастливость казалась ей непроч-

ной, слепой и даже страшной, потому что она не соответствовала всему, что свершалось за стенами бревенчатого дома.

По улицам города уже прошли печальные толпы школьников, отправляемых на восток. Дети шли, маленькие, потные, озабоченные, со своими узелками и рюкзаками, сдержанно поглядывая на пыльные родные улицы и на заплаканных матерей, с которыми теперь надо было проститься надолго, а может, и навсегда.

На Вокзальной улице, где жили Суховы, стали заметны дома с заколоченными ставнями. Женщины, старики, с темными от горя лицами, уходили и уезжали на восток. На покинутых усадьбах странно чернели раскрытые сараи и буйно, ненужно цвели зеленые огороды. Даже на усадьбе Суховых было заметно какое-то запустенье: отец потерял охоту подметать двор. Клавдия видела, что, в отличие от матери, отец стал потерянным и беспомощно-светливым.

Каждое утро, опухший от нездорового сна, он торопливо шагал к уличному радиорупору. Следом за ним выходила Клавдия. Они шли отдельно друг от друга и сходились только на площади у вокзала, где на высоком столбе чернел раструб громкоговорителя.

Здесь собирались люди, нетерпеливо ожидающие последних известий. Клавдия заприметила старуху, странно согнутую в пояснице, и молодую синеглазую женщину в выцветшем берете. Каждое утро сюда приходили еще длинноногий школьник с блокнотом и старик в широкополой шляпе. Этот старик особенно запомнился Клавдии, потому что он всегда охотно комментировал последние известия. Он слушал радио со степенной важностью,

Подняв голову так, что из-под аккуратного воротничка у него выступал багровый жадык. Старуха клонила голову набок, как больная птица. Школьник, краснея от напряжения, записывал названия городов.

Известия шли плохо, уже было объявлено Бобруйское, Новоград-Вольнское и Могилевское направления. Немцы рвались к Днестру. Красная Армия отступала в непрерывных кровопролитных сражениях...

С каждым днем все тревожнее и молчаливее становилась маленькая толпа у хриплого репродуктора.

Густой, очень знакомый голос диктора, еще так недавно мирно произносивший: «Внимание, говорит Москва», звучал теперь с особенной сдержанностью. После известий, случалось, передавали духовую музыку, — тогда в тишине маленькой, пустынной площади величественно, в грозном одиночестве, звучали трубы и литавры оркестра.

В один из томительно-тихих и знойных дней было объявлено Смоленское направление. Смоленск стоял в какой-нибудь сотне километров от Прогонной, и, значит, война стремительно шла сюда, на восток. Вероятно, поэтому толпа, стоявшая у репродуктора, вся до единого человека, с требовательным ожиданием обернулась к высокому старику. Но старик не успел ничего объяснить, потому что тут же, вслед за известием о Смоленске, диктор стал оповещать весь мир о неизвестном советском мальчишке, которого под Минском, на глазах у матери, закололи штыком немцы.

Это было первое сообщение Советского Информбюро об издевательствах немцев над мирным русским населением. Клавдия силилась предста-

вить, какое лицо было у немца, заколовшего несчастного мальчика, и что стало с матерью, но от ужаса и гнева только тряслась и кусала губы.

Закончились известия, и была объявлена следующая персдача, — никто, однако, не сдвинулся с места.

— Значит, ждать нам гостей? — сказал Диомид Яковлевич, с испугом посмотрев на высокого старика.

Старик ничего не ответил, Клавдия услышала только его тяжелое дыхание.

— Да ведь во всякой войне города и села в плен отходили, — вятно сказала горбатая старуха, поднимая желтое морщинистое лицо.

— Раньше так было, а теперь, видишь вот, убивают, — хмуро вставила женщина в беретике.

Она стояла в профиль к Клавдии, и та вдруг заметила какую-то диковатую неподвижность ее синего глаза в редких, длинных ресницах.

— На войне, как на войне, — проворчал старик в шляпе и хотел еще что-то сказать, но его прервала женщина с кошелькой..

— Итти нам отсюда некуда, — сурово, будто отвечая своим мыслям, сказала сторбленная старуха. — У нас тут отцы и деды схоронены.

— А вдруг и вправду — убивают? — с тоской сказала синеглазая женщина в берете и даже тронула за рукав высокого старика.

— Да, убивают, — сердито сказал старик. — Немцы начали войну подло и подло ее ведут. Это в их обыкновении.

Женщина в берете всем лицом повернулась к старику, и Клавдия увидела, что один глаз у нее был неживой, наверно, стеклянный, а из другого, смященного, блестящего, катились частые слезы.

Жизнь на Вокзальной явно распадалась. Все больше становилось домов с заколоченными окнами, слухи — один другого противоречивее — ползли с усадьбы на усадьбу. Горячечный этот бред пугал Клавдию, и она теперь неохотно возвращалась

Только на станции, в солнечной комнатке телеграфа и на путях, где протемневший песок привычно пахнул углем, она чувствовала себя легко и уверенно. Здесь люди работали с молчаливым напряжением, и Клавдия сразу, вместе со всеми, включалась в этот строгий ритм. Постепенно она начинала думать, что нет ничего необыкновенного в том, что они решили работать до последней возможности, до той страшной минуты, когда надо будет взорвать все, чем мог бы воспользоваться враг, а потом — уйти, кто куда может...

Она стала даже привыкать к этим мыслям, но тут случилась новая беда и непрочное ее успокоение рухнуло.

Было это так. Выйдя однажды за ворота с завтраком, завернутым в холстинку. Клавдия увидела на улице все немногочисленное население Вокзальной. Люди стояли на тротуарах, напряженно вглядываясь в пустое облако пыли, которое клубилось в самом конце улицы. Клавдия поняла, что это идет какая-то отступающая часть. Она впервые видела красноармейские части, идущие теперь на восток, но каждый раз все тяжелее было встречать их и смотреть им вслед.

Рукой, прижатой к груди, Клавдия будто старалась гунять бешеные удары сердца. А облако все подвигалось, и уже можно было рассмотреть пе-

редние ряды колонны, и в злобещей тишине отчетливо стал слышен ее слитный шаг. Скоро вся колонна втянулась в улицу. Командиры шли сбоку, у тротуара, и жители Воззальной уступая дорогу, подались назад.

Первые ряды прошли безмолвно. Клавдия, словно в тумане, увидела темные, испоеленные солнцем и войной простые лица, большие мужские руки, выцветшие спины гимнастеров...

Она выдвинулась, как могла, вперед и стояла, почти слепая от волнения, и все ждала, что из рядов позовет знакомый сдержанный голос Павла.

Впрочем, не одна она в этой тесной толпе на тротуаре с жадным отчаянием вглядывалась в лица бойцов. Но никого не окликнули из рядов, и колонна уже стала проходить. Клавдия норовно зашагала рядом с последними шбренгами и тут же заметила, что идут все.

Крайний в ряду красноармеец повернул голову к Клавдии и негромко поприсил:

— Вынься-ка водицы, девушка!

Он взглянул на нее мельком, слепка приоткрыв губы от жажды, она даже не поняла, молодой он или старый, — взгляд у него был пронзительно суровый. Клавдия остановилась, растерянно огляделась, — дом ее остался позади. Но по толпе уже прошло легкое движение. «Водицы просит», — сказал хриплый женский голос, и около красноармейца, словно из-под земли, выросла девочка с ведром. Большой ковш, весь в алмазных каплях родниковой воды, пошел гулять по рядам.

Люди точно очнулись, осмелели и стали перебрасываться с бойцами прерывистыми фразами.

— Уходите, значит.

— Уходим.

— Сила, верно, не берет.

— Пока — не берет. Вернемся!

Какая-то старушка вынесла крынку с молоком, подошла к колонне и суевливо, плача и крестясь, принялась совать крынку низенькому бойцу. Тот вопросительно оглянулся на товарищей и взял крынку. Тогда по толпе опять словно прошел ветер. На минуту наступил какой-то смутный беспорядок — хлопали ворота, растворялись окна, слышались озабоченные, даже сердитые голоса. Потом женщины, девочки с косичками, мальчишки, теснительно толпясь у колонны, наперерыв стали предлагать бойцам кружки с молоком, кувшины с домашним квасом, горячие лепешки, свежие огурцы.

Клавдия догнала ту шеренгу, в которой шел боец, попросивший у нее воды, и протянула ему свой завтрак в холстинке.

Боец застенчиво улыбнулся.

— Это напрасно, девушка.

— Пожалуйста, возьмите, — шепнула Клавдия, и он взял, поняв, что иначе нельзя.

Боец, оказывается, был очень молодой, белозубый. Вокруг глаз у него лежали пыльные круги, и может быть, поэтому глаза казались огромными. Но даже когда он улыбался, во взгляде у него оставалось это выражение жесткой суровости, — ведь он шел прямо из огня войны и, значит, видел все.

Колонна, казалось, шла все медленнее, женщины и ребятишки все теснее перемешивались с бойцами, но уже кончалась длинная улица, вся в садах и в солнце, уже прогремел под ногами у бойцов бульжник окраинной площади, уже стелились впереди шелковые, слегка желтеющие волны ржи...

У последнего дома произошла короткая сумятица. Женщины заплакали в голос, бойцы хмуро отрывались от толпы и подраивались, ребятишки подымались на цыпочки и, ничего не понимая, весело махали ладошками. И вот колонна, ровно колыхаясь и опять окутываясь рыжей пылью, утянулась в степь, а толпа, осиротевшая и снова молчаливая, осталась стоять у чьего-то палисадничка.

— Последние идете или за вами еще есть?— требовательно спросила собенная старуха и даже пристушнула своим бадожком о тротуар. Но мимо уже тархтели подводы обоза и никто ей не ответил. Только один из бойцов, идущих за подводами, оглянулся, и стальная прачь штыка остро блеснула на солнце.

15

В конце июля закаты стали особенно зловещими. Багровое солнце подолгу стояло на краю земли, и от него разметывались по небу пылающие облака. В спокойной воде озера, в окнах домов, на серебрястых стенах элеватора густо переливались пунцовые отблески заката. «Ох не к добру,— ворчали старухи в поселке, из-под ладошки глядя в пламенеющее поле, — кровь это...»

Потом небо угасало, и почками, на сине-тяжелом горизонте, все чаще взрывались и медленно опали белые чемы облачка: это была далекая и пока еще едва слышная артиллерийская стрельба, та самая, которой не боялась глухая Марья Ивановна.

Теперь уже никого не удивляли немецкие самолеты, пролетавшие над станцией, паровозы давно

перестали гудеть тревогу, и каждый мальчишка умел отличить дружественный рев нашего бомбардировщика от высокого, срывающегося воя немецких машин. Бои приближались, Прогонная стала прифронтовой станцией.

Между тем рожь за поселком созрела, и теперь под солнцем, с сухим шелестом, почти со звоном, текла золотая река. Это было состояние «молочной зрелости», наступала страда, урожай обозначился редкостный. По краям необъятного поля слабо стрекотал единственный трактор, кое-где мелькали деревянные крылья жиеек и потные спины лошадей, — но всем было понятно, что ржи ни убрать, ни вывезти не удастся.

Хлеб был главным богатством этого маленького города. Высокий элеватор, доверху наполненный отборным зерном и словно серебрищийся на солнце, всегда главенствовал над городом и поселком.

Теперь же, едва наступали сумерки, элеватор распахивал свои тяжелые двери. Всю ночь, сталкиваясь в темноте плечами, пережликаясь, переругиваясь, люди торопливо грузили зерно на подводы, и длинные обозы скрытно уползали в поле, на восток. Зерно хрустело под ногами грузчиков, золотистые струйки его текли по дороге, и днем сюда со всего поселка сбегались куры и озабоченные петухи...

И город, и станция, заметно опустелые и притихшие, продолжали жить под беспокойным небом войны обычной своею жизнью.

Клавдия, как всегда, аккуратно ходила на дежурства, очень не любила сменять Якова и не хотела уходить от старой невозмутимой Марьи Ивановны.

Вот только от Павла не было и не было ни-

сам. Клавдия старалась подавить невольные назойливые и страшные мысли, затрещала себе плакать, работала изо всех сил.

И все-таки иногда ей вдруг представлялось, что ничего не было — ни долгой незабываемой ночи на озере, ни прощанья у насыпи. «Он вернется», — говорила она себе, упрямо кусая губы, и кое-как успокаивалась.

Но день шел за днем, писем не было, и Павел оказывался среди тех, о ком говорили — «как в воду канул». Тоска исподволь росла в Клавдии, завладевала ею, настигала ее в какие-то минуты слабости, отчаяния.

И вот наконец горе обрушилось на нее с неудержимой и подавляющей силой. Это случилось в предрассветный час, в конце смены, когда Клавдия сидела одна в душной, затемненной комнатке телеграфа.

Всю ночь она работала старательно и с увлечением. Когда же были приняты и переданы все телеграммы, подсчитана маленькая касса, окончен журнал записей, она вдруг принялась за уборку комнаты: тщательно протерла жесткие листы фикуса, собрала бумажки со стола, подмела пол. Она двигалась по комнате, лихорадочно ища, чем бы занять руки, не давая себе покоя. И все же настала эта минута полного безделья, которой так страшилась Клавдия.

Она села, сложила руки на коленях, несколько минут глядела прямо перед собой и вдруг, замусив губы, повалилась головой на стол.

В этой позе ее и застала Марья Ивановна. Добрая старуха так растерялась, что сняла пенсне, и, слепая, пошла к Клавдии с осторожностью, словно по воде.

Клавдия подняла лицо. — перекошенное, все в слезах, — и уткнулась в рукав Марьи Ивановны.

— Ну-ну, — пробормотала та, ни о чем не спрашивая и только поглаживая Клавдию по волосам.

Клавдия дрожала и судорожно глотала слезы, подавляя в себе желание расплакаться во весь голос. Скоро она поднялась, оправдала волосы, виновато, неловко поцеловала Марию Ивановну, и, не сказав ни слова, вышла из аппаратной.

Площадь перед вокзалом была пустынной, ветер поднимал и закручивал легкие космы пыли, розовые, слабые отсветы зари лежали на седом бульварике.

Клавдия стояла на площади, ни о чем не думая, ничего не желая. Она очень устала, у нее горели наплаканные глаза и звенело в ушах. Именно в этот момент за ее спиной возник мерный звук шагов. Она вздрогнула, оглянулась. На площадь, со стороны вокзала, уверенно ставя ногу, входил отряд людей с винтовками. В первом ряду правогофланговым шел содобродый, могучий в плечах деда, и рядом с ним Клавдия с удивлением увидела бывшую свою одноклассницу толстую Нюру Попову, Бомбу.

Прошагав на середину площади, отряд браво повернулся, перестроился, и люди по команде, один за другим, упали на одно колено. Нюра Бомба, вся розовая от усердия, целилась прямо в Клавдию.

Как только командир, прихрамывающий военный с парабеллумом на поясе, скомандовал «вольно», Клавдия подошла к Нюре и ослабевшим ломким каким-то голосом спросила:

— Учишься?

— Да-а!.. — сказала Бомба, удивляясь бледности

Клавдия и странному блеску в ее припухших глазах.

— Ты, наверное, партизанкой будешь, — протяжно, с завистью, сказала Клавдия. — Счастливая! Уйдете в лес, на Боровку. Там такие сосны стоят, что днем хоть свечу зажигай...

— Откуда ты знаешь? — шепнула Бомба и почему-то оглянулась на своего сосода по шеренге, бородатого старика, который теперь курил, приваляясь спиной к стенке облупленного киоска.

Клавдия не замечала смущения Нюры. Она думала о чем-то своем, и худенькое ее лицо постепенно стало розоветь.

— Слушай, — сказала она порывисто, с силой стиснув мяшкую ладошку Бомбы. — Возьмите, возьмите меня с собой.

Бомба посмотрела на нее добрыми, немного навкате, озабоченными глазами и неуверенно сказала:

— Просись у командира!

Клавдия, не раздумывая, стремительно пошла через площадь. Бомба догнала ее и схватила за рукав.

— Какая ты! — укоризненно сказала она: — Нельзя так, сразу-то. Еще меня ругать станут.. Знаешь, что? Тебе надо через комсомол проситься. Иди к Степанову, в райком.

Клавдия как-то жалко, одними губами улыбнулась Нюре и, прихрамывая, быстро пошла по шоссе.

Она шла, решительно сдвинув брови, до того самого белого двухэтажного домика, возле которого перед войной ей так часто встречался Павел. Ступив на крутую лестницу, она так еробела, что глаза ее налились слезами. Значит, сюда Павел

приходил каждый день и товарищи из райкома, наверное, еще хорошо помнят его голос, его походку, его смех...

Она с трудом заставила себя подняться на эту лестницу, деревянные ступеньки которой оглушительно скрипели, и попала в пустую светлую прихожую со множеством дверей. За одной из дверей слышался сухой клецкающий треск машинки. Клавдия вошла и срывающимся голосом спросила Степанова. Ей сказали, что она должна подождать, потому что Степанов занят. Клавдия послушно опустилась на скамью.

Только теперь она заметила странный беспорядок в комнате. Три высоких шкапа стояли, раскрытые настежь. На столах лежали вороха толстых папок и бумаг. Особенно завален был тот стол, за которым сидела девушка с беленьким капризным лицом и губастый парень в выцветшей военной гимнастике. Парень диктовал какое-то удостоверение. Девушка печатала очень рассеянно, парень то и дело тыкал пальцем в клавиатуру, показывая нужную букву.

— А я все-таки пойду, — сказала девушка, снимая с валика готовую бумагу. — Возьму машинку и пойду.

— Мама заплачет, — насмешливо возразил парень. — Закладывай-ка лучше чистый лист. И хорошую копирку.

— Вот увидишь, пойду, — глуше, с обидой повторила девушка. — Ну, давай, диктуй!

— Партизанская клятва, — медленно произнес парень. — Сверху, крупно и подчеркни.

— Ой! — оживилась девушка и показала глазами на комнату Степанова: — Это тот привез? Кудрявый?

— Не привез, а принес. И даже вернее, пронес — через фронт, — неохотно объяснил парень и сердито оглянулся на Клавдию. — Болтлива очень, а тоже в партизаны собираешься...

Клавдия смущенно опустила голову. Она, в сущности, даже не знала — что сказать Степанову.

— «Я, красный партизан, даю свою партизанскую клятву... партизанскую клятву, о том, что буду смел — запятая — дисциплинирован — запятая — решителен и беспощаден к врагам — точка...»

Клавдия жадно вслушивалась:

— «Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих командиров, комиссаров и товарищей-партизан, всегда буду хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило моей жизни...»

«...если бы это даже стоило моей жизни», — прошептала Клавдия. Она все еще не знала, что сказать Степанову. Ей вдруг представилось, что партизанская клятва будет непременно и очень нужна ей самой. У нее была отличная память, профессиональная память телеграфистки, но сейчас она так боялась упустить хотя бы одно слово, что несколько раз повторила, шевеля губами:

— «Я буду верен до конца своей жизни своей родине, партии, своему вождю и учителю товарищу Сталину...»

В этот момент в комнате у Степанова что-то резко стукнуло и дверь скрипя, немного отошла. Клавдия невольно заглянула в комнату и увидела чью-то спину и светловолосый, тщательно расчесанный затылок.

— «...Если я нарушу эту священную партизанскую клятву — запятая — то пусть меня постигнет суровая партизанская кара — точка». Это почему «партизан» с большой буквы? Где у тебя резника?

— Партизан — потому и с большой буквы! — капризно сказала девушка. — Ну, да ладно! Сотру!

В комнате возникла недолгая тишина, нарушаемая шелестом бумаг.

— Ну, так как же? — неторопливо, с угрозой произнес густой голос за дверью.

Это говорил Степанов. Дверь оставалась неприкрытой, и Клавдия по спине, по опущенным плечам узнала Якова. Он стоял у самой двери, виновато сутулясь.

— Ты вот ему повтори — что ты сказал на площади.

Степанов говорил о каком-то третьем человеке, сидевшем в комнате, который был не виден Клавдии. Впрочем, ее сейчас всецело занимал Яков. Он все ниже опускал голову и все больше сутулился, точно хотел свернуться дотказа.

— Ну? — настойчиво пробасил Степанов.

Яков дернулся всей спиной и сказал своим негромким тенорком:

— Там насчет немцев говорили, — ну, что они сюда придут. А моя мать так сказала: «Мы — русские люди, нам бояться нечего». Мать вель — не я.. я...

В комнате у Степанова возникло томительное молчание.

— Вы — русские люди... — повторил Степанов странно-сдавленным и как будто совершенно спокойным голосом.

Отодвинув, даже, кажется, отшвырнув стул, он пошел прямо на Якова. Тот слегка попятился, половицы под ним протяжно скрипнули, — Клавдия увидела Степанова. Заложив руки в карманы, он стоял лицом к лицу с Яковым, невысокий, смуглый, с курносым истомленным лицом.

— Дай-ка сюда билет, — сказал он, и Яков с торопливой готовностью полез в боковой карман.

Клавдия видела: Степанов заставил его постоять с протянутой рукой, потом осторожно взял билет и безжалостно сказал:

— Ну, вот, так-то лучше — и нам, и тебе. И мать тоже довольна будет. В случае, немцы спросят — скажешь: из комсомола выгнали. Скорее простят.

Яков забормотал что-то неразборчивое и злобное. Клавдия хорошо знала за ним эту привычку — трусливо огрызаться, — потом половицы под ним снова скрипнули, и он как-то боком не то вылез, не то вывалился из двери.

Проходя мимо Клавдии, он успел смерить ее злобным и запоминающим взглядом. Степанов стоял на пороге, весь темный от гнева.

— Смотри, не вздумай нам пакостить, — говорил он негромко. — Мы, если понадобится, со дна моря тебя достанем.

Яков на секунду остановился, нетерпеливо глянул куда-то вбок, не оборачиваясь, пошел к выходной двери.

Степанов взглянул на Клавдию и уже спокойно спросил:

— Ты ко мне? Пройди.

Клавдия робко, словно связанная, шагнула за Степановым в кабинет и сразу же увидела курчавого парня, в полувоенной одежде, в пыльных покоробленных сапогах. Он смотрел в окно, на щеках и на подбородке у него смешно курчавилась черная, до синевы, молодая борода.

— Ну, рассказывай! — хрипловато сказал Степанов.

— Я не хочу оставаться в городе, когда...

— А-а!

— Возьмите меня... в партизаны.

Степанов покосился на курчавого, тот повернул голову, и его черные, без зрачка, внимательные глаза остановились на Клавдии. «Партизан!» — догадалась Клавдия, и смущение сразило ее с такой силой, что она едва не села мимо стула.

Степанов вынул паллиросу, чиркнул спичкой. Клавдии все-таки пришлось рассказать о себе, о Марье Ивановне и — очень подробно — о Якове Афанасьеве.

— Ты его на телеграф больше не пускай, — сказал Степанов. — А тебе надо было бы раньше прийти к нам. Девушка ты — хорошая, вступила бы в комсомол... а?

— Я и сама не знаю, почему раньше... Павел мне ведь говорил: вступи непременно.

— Какой Павел? — придирчиво спросил Степанов.

Она покраснела до висков, опустила голову и тихо объяснила:

— Павел Качков.

— Ты его знаешь? — Степанов заметно оживился.

Клавдия хотела сказать: «Он — мой жених», но слово «жених» показалось ей неуместным и даже смешным. «Он — муж мой», — едва не сказала она, но застыдилась и только молча кивнула головой: да, знаю.

— Письма от него имеешь? — спросил Степанов.

Она отрицательно покачала головой, судорожно проглотила комок в горло и, в замешательстве, стала перебирать бахромку пояса.

Степанов обошел кругом стола и взял Клавдию за обе руки. Она невольно поднялась.

— Это — ничего, письмо еще получишь, — уверенно сказал он и крепко пожал руки Клавдии. —

Жаль, поздно пришла. Мы уже, как говорится, сжигаем корабли. Ну, не корабли, скажем, а бумаги... А в партизаны — сама понимать должна: так вот сразу не берут.

— А главное, — сказал вдруг бородатый парень высоким простуженным голосом, — глядице, товарищ, ты сейчас только страшись. Этого мало. Надо — ненавидеть.

Клавдия пошла к двери, слегка подняв плечи и прихрамывая. Степанов быстро догнал ее, снова взял за руку.

— Раз уж ты пришла к нам в последнюю минуту, — это ведь тоже мужественный поступок, — так помоги нам. Хорошо? Нам очень нужны сейчас верные люди. Вот если б ты помогла эвакуировать ясли, а? Там осталось одно отделение, — сироты... Вот и прекрасно, сейчас я тебе дам записку.

И уже провожая Клавдию, он остановил ее в дверях и сказал негромко и нажимая на каждое слово:

— Ну, прощай. А будет нехватку — найдешь нас. Поняла?

16

Все двори высокого серого дома, в котором помещались ясли, были распахнуты настежь. В просторной прихожей, где, между двумя тяжелыми колоннами, прилепились крохотные вешалки, Клавдия нашла заведующую яслями. Это была полная озабоченная женщина с нездоровым румянцем и вся в полураспустившихся кудряшках. На белом, хорошо проглаженном ее халате грубо темнело грязное пятно.

— Вы к нам? Помогать? — спросила она неожиданно.

данно-слабым, ломким голосом и взглянула куда-то мимо Клавдии вытужлыми слеповатыми глазами, которые тотчас же заволоклись слезами. — Милая, господи... Настенька. Дарья Семеновна! Райком нам прислал, не забыли!

— Ну и славно, Вера Николаевна, — сказал сзади Клавдии спокойный старушечий голос. — Ребятишек вместе таскать будем.

— Я, знаете ли, очки тут разбила в суматохе, — доверительно пожаловалась заведующая. — А у меня близорукость, представьте, — десять диоптрий и топорь ничего не вижу. Сковороду съестную к себе приложила, — вот пятно какое...

Из-за дверей донесся толстый ребячий плач, и заведующая осторожно подтолкнула туда Клавдию:

— Идите в спальню, там вам покажут.

В большой белой с голубым спальне из всех окон, насквозь пронизанной солнечными потоками, в белых деревянных кроватках копошились ребятишки, совсем малюнькие, меньше Митеньки. Их было двадцать или немного более.

Старая, расчетливая в движениях и похожая на монашку няня Дарья Семеновна объяснила Клавдии, что состав теплушек, куда следовало погрузить ясли, стоял за станцией, у семафора. Его отвели туда потому, что немецкие самолеты особенно охотно разгружались именно над станцией. Лошадей же яслям не дали — весь транспорт был занят у элеватора, который дружил теперь днем и ночью и, случалось, — под бомбежкой. Значит, ребят надо было таскать на руках, через весь город, по шоссе, до березовой рощи.

На Клавдию надели халат, такой большой, что она обвернулась им два раза.

Робко подойдя к кроваткам, она выбрала толстенького рыжего, чем-то недовольного мальчишку, неумело прижала его к себе и, странно, сладко ощущая теплые цепкие ручонки и чистое ребячье дыхание, быстро пошла по улице, к станции. Оттуда, освободившись, она бежала всю дорогу, — скорее, скорее, к серому дому с распахнутыми дверями.

Сначала она изнемогала от жары в своем длинном халате, потом ей стало холодновато — она не понимала, почему. Граница между днем и ночью была потеряна. Несколько раз смутно она слышала близкий противный, сатанинский вой самолета. Басовые раскаты артиллерии гремели где-то левее станции. Но Клавдии, да, кажется, и другим женщинам из яслей было безразлично все, кроме ребят, которые ждали их, ничего не понимая, в своих белых кроватках. Все сместилось, отодвинулось куда-то, ничто не удивляло, не страшило. Было одно только пронзительное желание: дотащить всех ребят до эшелона, чтобы поезд тихо пронулся и, фыркая, уполз в спасительную березовую рощу, в далекие подмосковные леса.

Клавдия забыла, когда она ела, когда спала. Кажется, ее кормили страшной жидкой кашкой с ломкими сухариками. Потом она залезла в пустую неусдобную кроватку и провалилась в недолгий сон.

И вот наконец наступил этот прощальный рассвет, когда ребята, все до одного, уже спали в теплушках, среди многочисленных белых тюков с продовольствием, бельем, медикаментами. Поезд должен был уйти до полного рассвета.

Между тем Вера Николаевна, заведующая, все еще бродила по высоким тихим комнатам яслей,

постанывала, хваталась за вещи, подносила из близко к глазам и никак не хотела уходить. За ней, словно тени, бродили очумелые Дарья Семеновна, молоденькая медсестра Настенька и сзади всех — Клавдия, совершенно оглохшая от усталости.

— Идемте, Вера Николаевна, пора, — степенно урезонивала заведующую Дарья Семеновна. — Всего нехватишь, абы ребят живыми вывезти.

Вера Николаевна неуверенно потрогала скатертки на тумбочках и махнула рукой. В ее выпуклых глазах теперь все время стояли слезы.

— Она создала эти ясли, представьте, даже дом при ней строили, — прошептала, несколько шепелявя, Настенька и тоже заплакала.

Дарья Семеновна внезапно посуровела лицом, крепко взяла за руку заведующую и повела ее вон из дома. Настенька, всхлипывая, поплелась за ними. На крыльце Вера Николаевна вырвалась из рук няни.

— Ах, запереть забыла, запереть, запереть! — со страшным волнением сказала она и выхватила из кармана связку тяжелых ключей.

— Ни к чему, Вера Николаевна, — шепелявя, убедительно возразила Настенька.

— Посмотрят на твои замки, как раз, — с тоскою проворчала няня.

Но Вера Николаевна нашла взглядом Клавдию, подозвала ее и сунула ей ключи.

— Вы остаетесь здесь, милая, приберитесь там немного и запирайте, все запирайте. — Тут силы покинули ее, и она жалобно прошептала: — А ключи... заройте, что ли!

На прощанье она обняла Клавдию. Дарья Семеновна и Настенька потащили ее под руки вдоль

улицы. Клавдия долго, пристально смотрела вслед трем женщинам в белых халатах. Вчера они звали ее с собой. Но она сказала, что не может покинуть мать, и они тотчас же перестали ее уговаривать.

Сжимая ключи, Клавдия вошла в дом. Шаги гудко отдались у нее в ушах. Она остановилась в спальне, среди взбудораженных кроваток, где еще так недавно пищали, смеялись ребята, — и в тот же момент в комнате погас свет, за окнами прокатился глухой протяжный звук взрыва, стекла тенькнули, и весь дом словно толкнуло. «Стреляют», — равнодушно подумала Клавдия. Она слушала, склонив голову набок. Невозмутимая, недоверливая тишина возникла в доме, на улице. Клавдия с недоумением взглянула на окна и вдруг догадалась: взорвали электростанцию! Вчера в городе ведь предупреждали по радио. Будет ли еще работать радио — сегодня? Все уходит из города...

Клавдия рассеянно огляделась. Множество пузатых зайцев и мишек, разбросанных по полу, смотрели на нее тусклыми бисеринками глаз. На светлых полусорванных шторках, на груди белых опрокинутых стульчиков, на смятом белье в кроватках — всюду лежал печальный, пепельный свет раннего утра.

Клавдия вяло оправила две кровати и остановилась, пораженная полной ненужностью того, что она делает. Она налила из графина и жадно выпила два стакана воды, подобрала с полу маленькую яркую пирамидку для Митеньки, сбросила халат и вышла, тщательно заперев на ключ все двери.

Ключи она зарыла в садике, под самой высокой

березкой, и пошла на станцию. Улицы были пусты, востер гнал по мостовой смятые листы бумаги. Кое-где в окнах домов мелькали огненные блики, как будто там жарко топилась русская печь.

Клавдия на минуту остановилась у дверей комсомольского райкома. Они были торжливо забиты, в пробое торчал кривой гвоздь. На планке двери белел, прищипленный кнопками, лист бумаги.

— «Райком продолжает работать», — прочла Клавдия.

Она с сомнением потрогала дверь — да, забита, — и ничего не поняла. Только дойдя до угла, Клавдия внезапно догадалась:

«Они ушли. Это написал Степанов. Интересно, взял ли он ту машинишку?»

Она вступила в окраинную улицу. Здесь из всех окон струился желтый, тревожный свет. Клавдия ускорила шаг и скоро, прямо перед собой, увидела дымное клокочущее зарево. Оно полукольцом окружало станцию; дома в поселке, все до одного, были облиты его смятенным светом.

Клавдия пересекла овражек у элеватора и побежала на шоссе. Тут только она увидела, что горит ржаное поле, подожженное с краю, от леса, сразу во многих концах. Элеватор тоже сиял, — весь, доверхушки, выцветленный пламенем пожара. Здесь еще копошились люди, стояли подводы.

Клавдию удивила неложная, судорожная торжественность, с какою здесь двигались люди, — как будто элеватор и в самом деле горел. Мешки с зерном сбрасывались на подводы неверными движениями и с такой силой, что телеги ёрзали задними колесами по бульежнику и лошади беспокой-

но переступали с ноги на ногу. Вяло, то и дело разрываясь, шла цопь грузчиков. Подводы стояли слишком тесно и бестолково. Вот один из возчиков кое-как подоткнул неполные мешки с зерном, хлеснул лошадь и зашагал за подводой с таким видом, будто земля жгла ему ноги.

И тогда Клавдия увидела человека, мимо которого с такой неохотой, а может быть, и с ужасом проезжал возчик. Это был штатский, в черном костюме, с излишне подчеркнутыми, крутыми, подложенными плечами. Две такие же темные высокие фигуры виднелись еще около элеватора и на шоссе. Они стояли, молчаливые, заложив руки в карманы, и с равнодушным вниманием провожали глазами подводы с хлебом, — только и всего. Но Клавдия сразу поняла или, скорее, почувствовала, что это — чужие люди, которые никогда не жили и не могли жить на станции Прогонной. Они, конечно, знали, что город уже покинут, и с безнаказанной наглостью интересовались, куда увозят главное его добро — хлеб. Значит, это были они, — ненавистные, непонятные убийцы минского мальчика, — немцы!

Клавдия сорвалась с места и, словно гонимая ветром, помчалась на станцию.

Там она приостановилась у сквера, взглянула, колеблясь, в зеленую улицу, где ее ждала мать, — и, вздохнув, направилась на вокзал.

— Ну, чего пришла? — сразу же заворчала на нее Марья Ивановна. — Тебя дома потеряли.

— Марья Ивановна! — звонко, захлебываясь, зашептала Клавдия. — У элеватора — стоят! Они!

Марья Ивановна сняла пенсне и ненатурально-пискливо спросила:

— Уже?

Клавдия показалось, что старуха напугана, — такие у нее были чудные, помутневшие глаза.

Но Марья Ивановна неторопливо насадила пенсне и даже поправила прическу.

— Ступай, принеси чего-нибудь потяжелее, — булыжник, что ли!

Клавдия послушно вышла. Она несколько не удивилась: ведь такой был уговор, и, значит, уже пришла эта условленная, последняя минута...

Когда Клавдия с трудом втащила в комнату большой белый булыжник, Марья Ивановна, сгорбившись, неотрывно смотрела в аппарат. Клавдия осторожно освободилась от булыжника и тоже склонилась над столом. Белая лента, дрожа, ползла из аппарата, и на ней отчетливо, темнея точками и тире, повторялось, с неровными интервалами, одно и то же слово: «Немцы... немцы... немцы...»

Это выстукивала телеграфистка с соседнего разъезда.

— Ну, ступай домой, — сказала Марья Ивановна очень внушительно, но все тем же тонким, не своим голосом. — Уходи, говорю. Одна справлюсь.

И — вопреки этим сердитым словам — она протянула Клавдию, поцеловала ее в лоб и в щеки холодными трясущимися губами и оттолкнула от себя.

— Слышала? Иди.

Не смея ослупчатся, Клавдия вышла из вокзала и спрягалась у окна телеграфа, за каменным выступом, на котором висел колокол.

В окно она увидела, как Марья Ивановна, оставшись одна, хозяйственно щелкнула сумочкой и вынула оттуда... медный пестик от обычной домашней ступки и небольшие клещи. Клещами она

ловко отвинтила телеграфный ключ и сунула его в сумочку. Отодвинув планку, под которой скрывались механизмы, она изо всех сил стала совать туда пестиком. «Шестеренки разбивает», — подумала Клавдия.

Между тем Марья Ивановна обрезала ножницами все провода, порвала ленту, телеграммы, журнал. Потом, с трудом приподняв над столом булыжник, зажмурилась и с размаху бросила его на аппарат..

17

Еще на вокзале, увидев Елену с внучонок. Дномид Яковлевич тревожно подумал, что семья слишком поздно соединилась, на горячей земной войны. Может ли возникнуть теперь большая спокойная любовь, какую должно воздавать внукам, продолжателям рода? Значит, будет одна только лишняя боль и жалость, разрывающая сердце.

С молчаливым, уважительным изумлением наблюдал он за Матрешей Ивановной, — как будто впервые видел эту статную, странно помолодевшую женщину, которая, вопреки всему, почти под снарядами, со спокойной уверенностью лепила семью Суховых.

Неменьшее удивление вызывала в нем и дочь Клавдия: повзрослевшая, суховатая в обращении с отцом, она начала работать на своем телеграфе с непонятным увлечением именно в те дни, когда война стала осязательно придвигаться к родным местам и жизнь вся вдруг сместилась и перепуталась.

Впервые за долгие годы старик остро ощутил свое глухое, полное одиночество даже в родной семье.

Он пробовал все обдумать наедине с собою, но от непривычки разбираться в своих мыслях он не мог прийти ни к какому решению и только тосковал и бестолково метался по дому.

И тут, в какой-то особенно скучный час, он вспомнил про старинного своего сослуживца, железнодорожника Степана Лукича Касьянова, — первоначальника пьяницу и весельчака, который, однако, никогда не был пропойцей и слыл в поселке лжежачом и человеком себе на уме. На железной дороге Касьянов работал лет двадцать, все время только смазчиком, упорно не желал подыматься выше. Сухов знал, что у этого кудрявого, увертливого, всегда словно хмельного молодца была собственная система взяток, разработанная во всех тонкостях. И в самом деле: ко времени полной отставки, по старости лет, Лукич оказался владельцем небольшого, но добротного дома из толстенных матчевых бревен и просторного огорода. Уже после отставки, отстроив дом, Лукич покрасил затейливые резные наличники окон в небесно-голубой цвет, посадил у террасы яблоньки и вдруг женился на довольно молодой, гибкой, рыжей, как пламя, женщине, похожей на матерую лисицу и знающей себе цену.

В тоскливом своем томлении Дномид Яковлевич вспомнил, что в войну 1914 года Лукич был в немецком плену и, стало быть, должен знать о немцах больше других. Дномид Яковлевич натянул свою старенькую кондукторскую шинель и отправился в город.

В просторных сенях, очень чистых и смутно пахнущих смолой, его приветливо встретил сам Лукич, — в расшитой рубахе, пылающий розовым, младенческим румянцем алкоголика. Серые ку-

держки на висках все еще придавали ему удалой и даже наглый вид.

Разговор у стариков, однако, как-то не получился. Диомид Яковлевич мямлил, неловко покашливал и никак не решался задать прямые вопросы. Лукич, конечно, сразу же понял, чем томится Сухов, но, из озорства, произносил загадочные фразы, и в выпуклых глазах его то и дело проблескивала острая усмешка, от которой Сухова бросало в пот.

— А тебе не след больно убиваться. Они — хояевам не враги.

Но при этом он снова усмехнулся, и Сухов не понял — всерьез ли это сказано, или в шутку.

Так и вернулся Диомид Яковлевич домой — ни с чем, только еще более угрюмый и потерянный.

Конечно, самым простым было бы взять мешки с одеждой и продуктами, продать, пусть за бесценок, урожай на огороде, забить дома и всей семьей уехать за Москву. Но старик даже не решался заговаривать об отъезде: жена просто подняла бы его насмех. Да и в самом деле, — как уйдешь от своей земли, от своих домов, когда с ними, с каждым поседевшим бревном в этих стенах были связаны молодость, дети, горе, вся длинная и нелепкая жизнь...

С горестным любопытством он наблюдал, как на его глазах в городе замирала, распадалась жизнь. Более всего ужаснули его тусклые россыпи зерна вокруг элеватора, на шоссе и на всех проселочных дорогах. Под конец зерно стали давать всем, и его тащили по улицам поселка — в мешках, в ведрах, в корзинах. Сам старик несколько раз хватался за мешок, но пойти так и

не решился: там ведь уже стояли немецкие солдаты...

В последнюю ночь перед приходом немцев в домо никто не спал: ждали Клавдию, которая пропала где-то двое суток. Мать боялась, что Клавдия попала под бомбежку и лежит где-нибудь в канаве, раненая или мертвая. Под вечер мать сбегала на вокзал, в город, но нигде не нашла дочери. Всю ночь, стараясь заглушить тревогу и не говоря ни слова о Клавдии, в доме упрятывали в подвал картошку, пшено, муку, одежду. Потом Матрена Ивановна забила крышку подвала, выдернула тяжелое кольцо и заставила Дюмида Яковлевича состругать рубанком следы от кольца и заново покрасить весь пол в кухне.

Клавдия пришла на рассвете. Ей отпер отец, весь перепачканный краской, с кистью в руках.

— Немцы! — сказала Клавдия.

Она ничего более не объяснила, отказалась от еды и прошла прямо в спальню.

И только когда, заботливо укутанная, она крепко заснула на материнской постели, в руке у нее заметили красненькую пирамидку.

— Гляди-ка, игрушка, — испуганно шепнула мать. — Уж не тронулась ли?

— Не болтай, — строго, как бывало прежде, прикрикнул на нее старик. — Отдай вон Митюшке.

Утром, как всегда, он вышел на крыльцо и взял метлу, чтобы подмести двор. Его остановило злобное сдавленное рычание: пес натянул цепь так, что она захлестнула ему горло, и стоял на литых ногах, наострив лохматые уши.

Старик удивленно огляделся и тотчас же понял, что во втором его доме — люди. Одно окно было

небрежно распахнуто, болт от ставни еще звякал о стену. В комнатах слышались тяжелые, мужские шаги и отрывистая речь.

Немцы!

Старик уронил метлу, ноги у него подкосились. Все вдруг стало ненужным, мелким, недействительным.

Во втором своем доме он не был с того самого дождливого, печального дня, когда уезжал из города маленький Морушка со своей матерью. Проводив их, старик закрыл на болты все ставни и запер двери.

Немцы, наверное, открыли дом штыками. Замок был вырван напроць, и в обеих половинках двери белели глубокие вмятины. Старик прислонился к низенькому забору огорода, медлительно раздумывая о том, что оба его дома похожи друг на друга, как братья, — значит можно было догадаться, где хозяин, и спросить у него ключ.

Двери в доме между тем с треском распахнулись, и к ногам старика упала, вышвырнутая сильными руками, плетеная Морушкина корзинка. Пес отпрыгнул, приложил уши и, гремя цепью, закатился лаом.

— Цыц, шут окаянный! — зашипел на него старик.

Пес смолк, напряженно следя за каждым движением хозяина. Диомид Яковлевич потрогал Морушкину корзинку и отдернул руку, словно обжогся: его пронзила мысль, что этого делать нельзя — может не понравиться немцам. Впервые в жизни у себя во дворе он не был хозяином!

Следовало, конечно, поскорее сказать жене, что немцы — здесь, во дворе, в доме, — но сил почему-

то не было. И тут еще совсем рядом весело засмеялся Митенька.

На крыльцо вышел немец, в расстегнутом пепельно-зеленом мундире, в узких смятых штанах. Лицо у него было мелкое, белосос, равнодушное. Старик невольно вытянулся, схватил внука за ручонку. «Я — глухой, я — глухой», — мысленно повторял он, вспомнив наказ жены, и при этом подумал, что, если немец заговорит с ним, следует показать себе на уши.

Немец спустился с крыльца и, вскинув голову, прошел в огород. Выцветшие его глаза ни разу не остановились на старике с ребенком, — как будто их вовсе не было во дворе. Огородную жалитку он раскрыл пинком сапога и, давя сочные кудрявые плети тыква, прошагал к самой свежей, к самой зеленой грядке огурцов. Первый огурец, попавшийся ему, был, наверное, горьким, — он с досадой швырнул его наземь. Второй он сожрал с жадностью, даже не стерев пыли и двигая маленькими, женскими, ушами.

— Дядя... ам! — серьезно сказал Митенька и показал на немца коротеньким пальцем.

— Молчи! — Дномид Яковлович испуганно прижал к своим коленям светлую головенку внука.

Немец, прожеывая огурец, вышел из огорода, покосился из-под белых ресниц куда-то на ноги старика и направился к сараю, откуда как раз, по-утреннему важно, выходили белце курь и где стояла корова Зорька.

Пес хрипел, натянув цепь доотказа. Немец хотел обойти его стороной, но это было невозможно: собачью будку когда-то врыли в землю как раз около коровника, с таким расчетом, чтобы

воры никак не могли, минуя пса, попасть в сарай к Зорьке.

Сердито косясь на пса и как-то странно, опасно поджимая ноги, немец все-таки двинулся к коровнику. Пес упал на передние лапы, — он всегда делал так перед прыжком, — и в следующее мгновение, самозабвенно рыча, всей пастью вонзился в ляжку немцу.

Дальше все произошло с непонятной, оглушающей быстротой.

Немец взвизгнул совершенно по-бабьи, в руках у него тускло блеснул револьвер. Выстрел в упор прозвучал глухо, пес рухнул на землю, судорожно затребая всеми четырьмя лапами. Немец, красный и взъерошенный, словно обезумел: он принялся палить куда попало — в собачью будку, в кур, — и выстрелы, частые, гулкие, почти сливались один с другим.

Муры взлетывали, тяжело взмахивая крыльями, перья кружились в воздухе, стоял крик, треск, и это было какое-то сумасшедшее бодое бушеванье...

Из сеней быстро вышла Матрена Ивановна. Всплеснув руками, она почти свалилась с крыльца и с трудом оторвала ребенка от деда.

Митенька весь трясся, глаза у него беспамятно расширились, он почему-то все разевал рот и только судорожно сглатывал, но не кричал.

Ничего не слыша и не видя, кроме искаженного лица ребенка, Матрена Ивановна одним духом взлетела на крыльцо и захлопнула дверь ногой. Она побоялась напугать Елену и прошла в кухню. «Не углядела ребенка, не углядела!» — ей хотелось удариться головой о стену, завывать, но она только стиснула зубы так, что у нее заломил

ло в скулах, и принялась медленно, спокойно поглаживать Митеньку по голове, по плечам, по спине. В конце концов мальчишку словно прорвало, и он заплакал громко, с криком, захлебываясь. Потом он вразумно уснул и проснулся только к обеду.

Елена заметила странную молчаливость мальчишки. Он играл, как всегда, бегал, плакал, улыбался, но не произнесил ни одного из тех милых слов, какими, бывало, смешил весь дом. Когда ему что-то понадобилось, он молча показал пальцем и при этом внимательно взглянул в рот матери. Его испуганно заставляли сказать хотя бы «мама» или «дай», ласкали, сердились, — но он только улыбался и прятался за юбку бабушки. К вечеру все в доме окончательно уверилось в том, что ребенок перестал говорить.

Ночью Диомид Яковлевич вышел во двор. Здесь было темно, тихо. Около будки неподвижно чернел труп собаки. Диомид Яковлевич потрогал его ногой, подумал: «надо бы прибрать» — и пошел было за лопатой, но тут же остановился: а вдруг опять выйдет тот немец.

Он стоял над мертвым псом и беззвучно шевелил губами. Он вспомнил спящийные времена, когда пес был еще молодым щенком и он, хозяин, посадив его на цепь, чтобы воспитать лютого стража дома. Пес подрастал не обнаруживая, однако, особой лютости. Натягивая цепь, он ходил и ходил возле своей будки, по дорожке, утоптанной его лапами, или же сидел, поджав лобастую голову и приплюсываясь к запахам улицы, деревьев и высокого неба.

Только однажды пес обнаружил строптивую не-

покорность. Было это позапрошлой весной, в пору собачьих свадеб. Он, хозяин, привел с базара подводу с хворостом. Пока сбрасывали хворост, ворота оставались открытыми. Вот тогда-то во двор вкатилась свора дерущихся собак, — впереди бежала сушка, рыжая и мелкая, кобели дрались из-за нее, не обращая никакого внимания на черного пса. Цепной же из всех сил рвался к своре. Не успел хозяин взять арманик, как пес страшным усилием разорвал цепь и бросился в самую середину дерущейся своры. Тут собачий клубок погнало к воротам, и пес затерялся в нем.

Он пропал недели две, а потом как-то под вечер явился с повинной. Обрывок цепи болтался на его шее, шерсть висела клочьями, и на худых боках были видны ребра. Подойдя к хозяину, он повалился наземь и виновато поднял вверх лапы.

Теперь, мертвый, он лежал перед хозяином в такой же точно позе, и хозяин не мог даже взять лопату, чтобы закопать в землю мертвого сторожа двора.

18

Старуха не плакала, не утешала Елену, никого не проклинала, но молчание ее было страшным. Она вся словно окаменела, и на ее крупном застывшем лице, со стиснутыми губами, нестерпимо горели одни глаза.

— Не убивайся, Матрена, — несмело попробовал утешить ее старик. — Он будет говорить. Ведь — слышит, головенку поворачивает...

Она только кинула на него томный обжигающий взгляд, какой он помнил у нее еще с того года, когда ушел из дому старший сын, — и снова про-

молчала. И это был грозный непрощаемый укор старику: не сумел защитить дитя — теперь все равно.

Матрена Ивановна сурово велела Елене лежать в постели, а Клавдию одела в темное широкое длинное платье и повязала темным платком. Клавдия, — тоже какая-то вся потухшая и вялая, — безропотно обрядилась в старое платье. Тяжело прихрамывая, она бродила по дому и все поглядывала на маленького немого Митеньку с недоуменным ужасом.

Ближе к полудню к Суховым пришел пожилой немец, с толстым сонным лицом, похожий на мирного отца семейства. Он растворил все двери настежь, сдернул со стола старинную скатерть, связанную мудреными кружочками и паучками, долго разглядывал ее, поднеся к глазам, и бросил обратно на стол. Потом он брезгливо потыкал длинным пальцем в перину, на которой лежала белая от испуга Елена, и ушел, приказав хозяйке сдавать в соседний дом весь удой молока.

Старуха равнодушно сидела у стола в зале и ничего не ответила. Диомид Яковлевич уже не удивлялся тому, что он в дому — не хозяин, а только весь дрожал от мысли, что старуха вздумает перечить немцу или просто взглянет на него своими большими пылающими глазами, которые откроют все — и непростимое горе, и злобу. Но Матрена Ивановна глухо молчала. Тогда старик с неменьшим страхом перевел взгляд на дочь. Клавдия забилась в передний угол. Тоненькая, странная в своих темных одеждах, со сбившимся платком, она с силой стиснула худенькие пальцы и, не мигая, смотрела на немца.

Перед стариком и сейчас стояли ее глаза — материнские, открытые, блестящие болью и недоумением...

Он вздохнул, пошарил ногой и грузно опустился на дубовый обрубок, — широкий, сучкастый, весь истыпанный топором, — на котором он еще так недавно мастерил камышовые дудки для Морушки.

Вот, значит, и пришла та самая, иная жизнь, о которой с такой мучительной неопределенностью думал Сухов.

Фронт стремительно перекатился через Прогонную и ушел на запад. Немцы втекли в город сразу с двух концов, и в улицах поселка еще держался острый запах бензина. Моторизованные колонны, артиллерия, обозы прошли через станцию, почти не останавливаясь. На Прогонной остался небольшой гарнизон, солдаты которого и расположились по-хозяйски во многих домах поселка и, в том числе, в пустом суховском доме. В поселке уже называли какую-то мудреную фамилию офицера, главного среди немцев.

Теперь, согнувшись на обрубке, старик медленно думал об этом главном немце. Офицер, конечно, поселился в городе и оттуда будет наводить порядок. Да, порядок. «Немцы — это прежде всего — порядок», — таким у Сухова было старинное представление о немцах. И Кастьянов сказал про немцев то же самое, а уж он знает.

Не поискать ли там, в городе, управу и за топтанный огород, и за стрельбу во дворе? Ведь он, Дномид Яковлевич Сухов, не какой-нибудь бобыль, а хозяин, домовладелец и главный кондуктор пассажирских поездов..

Старик даже застонал и сплюнул: мысли эти были стыдные, потайные. Он как-то не совсем верил самому себе и никогда не признался бы в этих мыслях ни жене, ни даже дочери. «Может быть, надо все-таки сходить в город», — с упрямым отчаянием подумал он, и тотчас же нетерпеливое, почти ребяческое желание охватило его: сходить, сходить в город! «Погляжу, как там», — неопределенно решил он, и сердце у него тяжело заколотилось. Тотчас же он принялся действовать — осторожно и с уверенностью заговорщика, потому что дома ничего не должны были знать.

И едва на востоке проклюнулась заря и в улице стало светать — еще до пастушьего рожка, — калитка в суховском доме бесшумно раскрылась, и из нее вышел хозяин, в сбереженной от старого режима кондукторской форме, в тугой фуражке и даже с цепочкой, на которой полагалось быть свистку. (Свисток этот он долго искал, пока не вспомнил, что подарил его Морушке.)

За воротами старик остановился. Его маленькие мутноватые глаза внимательно и тоскливо остановились на шпионном могучем пне, что темнел как раз напротив калитки. Уж не мелькнула ли у него мысль, что сам он, Диомид Сухов, одинокий, потерянный, подобен этому старому пню, который широко распростер свои корни, сухие, корявые, подернутые смертельным пеплом?

Старик с трудом перевел взгляд на слепые окна своих домов, на зеленую крону тополя, что рос на огороде... Он как будто уезжал в дальний путь и прощался, и запоминал все, чем жил до этой последней минуты.

Заря разгоралась и слабо розовела на седых

бруснах домов, на блеклой придорожной траве. Сколько раз прежде он, бывало, уходил на вокзал именно в этот немой предрассветный час, уходил, озабоченный, не оглядываясь. А теперь почему-то ноги с трудом отрывались от камней тротуара, на котором он знал наизусть каждую выбоину...

Он вышел на шоссе и сразу же остановился: у обочины, на выезде со станции, вбили в землю столб, ичаннем висела ажурная дощечка-стрела, на которой чернели поджарые непонятные буквы. «По-немецкому», — подумал старик и сторбился, холодея от испуга. Кругом было, однако, тихо и пусто. Серая полоса шоссе, как всегда, стремительно убегала в город. От шоссе в разные стороны мирно растекались узенькие и пыльные проселочные дороги. Город виднелся близкий, весь белый, тишайший, в курчавых шапках садов. И все-таки это был теперь какой-то новый город, на новой земле, — и старик зашагал к нему, силно дыша от волнения. «Лукич с краю живет, — утешительно думал он, — к нему зайду. Он — прокурат известный, все теперь вызнал. Приду домой — расскажу, успокою, жить-то ведь как-то надо...»

У самого города, при въезде в главную улицу, он снова наткнулся на столбик со стрелой и надписью, но не стал останавливаться, а только замедлил шаги и пошел дальше, высоко поднимая ноги, словно в брод по неизвестной реке.

В начале улицы, как раз напротив белого затейливого особняка Кручинина, на дороге, в пыли, лежала, согнувшись, какая-то женщина. «Упала, что ли? Верно, с ночи, никто не видал...» — медленно соображал старик, направляясь к ней, чтобы помочь, поднять. Обыкновенное любопытство

руководство им, и почему-то ни одна подозрительная или опасливая мысль не встревожила его в эту минуту.

Он остановился над женщиной. Светлые волосы, разметанные по земле, неясно ужаснули его, он наклонился и вдруг увидел, что половина лица у женщины зияет темной, кровавой, уже подстывшей раной...

В тот же момент форточка в бывшем доме купца Кручинина открылась настежь, из нее высунулось короткое черное дуло автомата. Свинцовый глазок нащупал широкую фигуру старика. Поле отозвалось на выстрел троекратным эхом. Старик так и не успел ни выпрямиться, ни понять, что это — конец. Он просто ткнулся носом рядом с женщиной, и потом, уже тяжестью мертвого тела, его перевернуло на бок, и он всем лицом прилип к земле, которая выростила его, вскормила и теперь так неожиданно приняла на себя его прах.

Прошла минута в полном, глубоком успокоении и над улицей, — как и вчера, как и сорок лет назад, когда Диомид был молодым парнем, — трижды проплыл серебряный, чистый, ребячески наивный звук пастушьего рожка.

19

Тетка Наталья, соседка Суховых, узнала о гибели старика у колодца, на выгоно стада. Весь день она со страхом поглядывала через кухонное оконце на дом Суховых. Там было по-обычному тихо, никто не вскрикнул, не заплакал. «Вот, камонные!» — удивилась Наталья и, не выдержав, отперла маленькую калитку в огород Суховых.

Старуха стирала. Красная от натуги, она мерно качалась над огромным парным корытом.

— Здравствуешь, Матрена Ивановна, — сказала Наталья и села на скамью, робко озираясь.

— Доброе здоровье, — ровно ответила старуха, круто отжала полотенце и вытерла руки, переставая стирать из вежливости к гостю.

«Неужели не знает? — с ужасом, не веря себе, подумала Наталья. — Идут как-то на отшибе, сами по себе...»

Через силу, почти не слыша себя, она задала старухе несколько малозначащих вопросов и, получив спокойный ответ, вся побагровела, вытаращила темные добрые глаза и вскрикнула:

— Да где же у тебя сам-то?

Видя, как тревожно замаялась Матрена Ивановна, она спросила еще громче, срываясь с голоса:

— Иль не знаешь? Господи!

Старуха посерела в лице, медленно опустила на скамью и, раскрыв рот, схватила за сердце.

— Сосо-ду-шка-а! — уже откровенно, навзрыд завопила Наталья и закрыла лицо руками.

Из комнаты выбежала Клавдия. Она мельком взглянула на мать, бинулась к Наталье и ствела ее руки от мокрого курносого, сразу постаревшего лица.

— Ш-што такое? Ну? — заикаясь, спросила она.

— Ты плачь, тетка Матрена, — страстно сказала Наталья, отстраняя Клавдию. — Ты плачь, а то сердце лопнет. Убили ведь его природы-то. — Она повернулась к Клавдии, сказала тише: — Отца твоего убили, — и обеими ладонями вытерла лицо и нос.

— Мама! Мама!

Клавдия с силой потрясла мать за плечи. Та застонала, уронила голову. Клавдия зачерпнула во-

ды и репелтоскивая прямо в колени матери, поднесла ковш ко рту. Матрена Ивановна стала жадно пить.

— Где он? — тихо спросила она мокрыми пепельными губами, потом закрыла глаза и выслушала подробный рассказ.

Проводив Наталью, она оперлась на Клавдию, прошла в спальню, зажгла там лампаду и грузно опустилась на колени. Она почти не крестилась и молча смотрела на иконы сухими требовательными, странными глазами.

...Теперь уже почти забылись крошечные гробики двух малышей: Клавдий, как же вывести югда-то из дома Суховых, и это была первая большая смерть в семье: она придавила, припечатала плечи матери всей своей черной каменной тяжестью.

Мать медленно ходила по дому, и ее словно всюду сопровождал ледяной ветерок одиночества: одна осталась на свете, одна! И еще всюду, на каждом шагу, она больно натыкалась на вещи, которые знал и любил Дномид. Это было самое мучительное и непоправимое: вещи пережили человека, они были целы и невредимы, они обступали мать со всех сторон, укоряли ее, ранили, кричали.

Надо было, однако, действовать. Вместе с Клавдией они внесли и поставили в зале, в переднем углу, две длинных крашеных скамьи, накрыли простыней и в изголовьи положили кружевную подушку.

Потом в темном чулане мать ощупью раскрыла укладку, до которой еще не сумели добраться немцы, надела новое черное платье и вынула новые

же длинные холстовые полотенца. Она смутно надеялась, что добрые люди помогут ей и — на полотенцах — донесут до дому Дномида Яковлевича, чтобы похоронить, как подобает по обычаю.

Клавдии она велела запереться, никуда не выходить, а через час разжечь большой самовар для обмывательства.

Высокая, темная и как будто спокойная, Матрена Ивановна пошла по шоссе, к городу. Она глядела прямо перед собой и вряд ли понимала — день сейчас или ночь, — и никого не видела, не узнавала.

Издали пристально, до рези в глазах, она всматривалась в кручининский особняк, — и увидела сначала только башенки с флюгерами, неподвижно вырезанными в сильном воздухе, потом крышу, мокрую от росы, и снежно-белые стены. Тут же, подальше быстрых стен, внезапно темнело большое и страшное пятно. Сердце у матери стукнуло и будто оборвалось. Она шла все быстрее и стала уже задыхаться, когда у самого города ее неожиданно остановил Степан Лукнич Касьянов.

— Не ходи, — осторожно, не здороваясь, сказал он своим надтреснутым тенорком.

Она посмотрела на него удивленно, словно просыпаясь от тяжкого сна. Касьянов почему-то был очень наряден, — в черной поддевке, в начищенных сапогах. Мать смутно отметила это и хотела пройти мимо, но Касьянов схватил ее за рукав и, явно уже сердясь, твердо сказал:

— Не ходи, говорю, нельзя туда ходить... Понимаешь, — нельзя!

Мать растерянно переложила холстинный сверток из одной руки в другую.

— Мертвому честь воздать, — удивленно и строго сказала она. — Как же это — нельзя?

Выпуклые глаза Касьянова жестко блеснули:

— Штаб там немецкий! Твой полез убитую поглядеть, а убитая-то партизанка была, и ее хоронить вовсе запретили. Твой-то вроде с ней заодно, — вот и лежат теперь рядышком!..

Мать постояла перед Касьяновым, выслушала его и судорожно вздохнула:

— Пойду прощусь!

— Остерегись, в последний раз упреждаю! — быстро сказал Лукич и поглядел вслед старухе круглыми пьяповатыми глазами, в которых не было и тени сожаления или участия.

Мать перешла через улицу и приблизилась к особняку по другой стороне. Отсюда она с беспомысленной какой-то отчетливостью увидела лежащую на земле женщину с разбитым лицом и рядом с ней мертвого Дномеда. Он упал прямо на дорогу — бородой в пыль, глаза у него были не плотно закрыты, и рыжевато-тусклый ус слабо шевелился от ветра.

Мать не остановилась, хотя ноги у нее подкашивались и свет на какие-то мгновения уходил из глаз. Она брела, с трудом отрывая подошвы от земли, и побелевшие ее губы шептали: «Где упал, там и могила твоя, не думала, но гадала, что так расставаться будем. Прости. За всю жизнь — прости...»

Она дошла до угла, медленно повернулась и еще раз прошла мимо мертвого мужа, потаенно крестясь и все так же беззвучно шепча: «Ухожу я, — не для себя, а для дочери, для внука ухожу!»

Она решила остановиться только у овражка. —

и оттуда долго, пристально, прощаясь и плача, вглядывалась в пятно на пыльной дороге. Она никак не могла уйти совсем и все виновато всхлипывала и хрустела пальцами: чудовищным кощунством казалось ей не обмыть покойника, не сотворить прощальную молитву, не предать тело земле, из которой все рождается и куда все уходит.

Улучив минуту, когда никого кругом не было, она упала на колени в жесткую пропыленную траву и отдала мертвому мужу земной поклон.

Потом она встала, утерла полотенцем обильный пот со лба и, уже не оглядываясь, пошла на станцию.

Войдя в крайнюю зеленую улицу поселка, она вспомнила о молодой убитой женщине и резко остановилась. Ей неизвестно было имя покойницы, но ведь это была женщина и, наверное, тоже — мать! Значит, где-то остались сироты, маленькие, бесприютные...

И тут впервые остро, с пронзительной болью мать представила себе все пространства русской земли, пожженные, разрушенные войной, — Смоленщину, где она сама родилась и выросла, Украину, песни которой она пела в молодости, Белоруссию, — светловолосые, скуластые крестьяне которой так густо перемешались с крепким, угрюмоватым смоленским мужиком...

Теперь она с ослепительной яркостью увидела перед собой гибельные псажища, вспомнила сероглазого бойца, который назвал ее маткой, а теперь, может быть, уже сложил свою молодую голову, и тысячи неизвестных ей убитых и поруганных матерей, девушек и тысячи сирот, бредущих по голой, злой земле войны.

Война вдруг ощутимо придвинулась к сердцу ее. Впереды всего, ближе всего были, конечно, мертвый муж, немой внук, но боль как бы вышла из берегов, стала огромной, плавающей.

И тут ясная настоячивая мысль легко подвела ее к тем, кто был виновником ее горя и горя всех матерей и всего русского народа: немцы! Не самые длинноногие, самоуверенные солдаты, которые похозяйски посетились в ее втором доме!

И в ней исповино прорвался поток ярости. Вся в багровых пятнах горячечного румянца, в платке, сбившемся на плечи, дыша сипло и со стоном, она почти сбегала к дому, хлопнула калиткой, минуту постояла у грязного залпленного крыльца, — эти самые немцы! — и быстро, как-то боком, прошла в сарай. С удивительным равнодушием оглядела она пустой настил, — на нем еще сохранились курьи следы, — корову, которая, конечно, тоже была обречена на истребление. Ничего, ничего не жалко!

Она расseyнно сунула сверток холста на грязный настил и, как бы ища чего-то, стала бродить по сараю взад и вперед. Наконец глаза ее остановились на вязанке соломы, принесенной, наверное, еще Диомидом. Простоволосая, что-то шепча, она бросилась в этот угол и начала скручивать из соломы длинные крутые жгуты, какие делалось ей вязать когда-то во время жнивья.

Потом она вытащила из ящика четверть с остатками прочерневшего керосина и, внезапно потеряв всю свою сноровку и аккуратность, вылила керосин не только на жгуты, но и на руки, и на юбку. Все равно: ничего, ничего не жалко! Теперь надо только дожидаться полной темноты.

Она остановилась посреди сарая, держа перед

собой запачканные керосином руки. И тут корова коснулась ее плеча осторожными, теплыми, мягчайшими губами — и это заставило ее очнуться: «Сторим! — затряслась она. — Господи! Затмение нашло!»

Торопясь, она раскрутила жгуты, вытерла руки о солому, убрала четверть в угол и в изнеможении опустилась на ящик. За плечами у нее мерно и сочно жевала корова, сквозь дощатую дверь просачивались робкие сломанные пыльные лучики закатного солнца. Пора было доить корову, — потому-то она и ткнулась мордой в плечо хозяйки.

Матрена Иваловна дробно хруснула сразу всеми пальцами и застонала сквозь зубы. Что же это творится на белом свете: там, в пыли и поруганьи, лежит ее мертвый муж, дома ждут плачущие дочь и сноха; сейчас она, мать, подоит корову и отнесет молоко — туда, немцам. А что, если подсыптать в молоко крысиной отравы? Мать так ясно видит перед собой синюю долгонюкую коробочку с белым порошком на верхней полке, в кухне, что невольно задерживает дыхание и смотрит на дверь жадными блестящими глазами.

«Убьют! Митеньку убьют, — с укором, медленно остывая, говорит она себе, — Клавдию, Елену изуродуют...»

Она выходит из сарая и идет домой, не оглядываясь на зашлеванное окаянное крыльцо, — прямая, строгая, спомертвелым, наглухо замкнутым лицом.

Клавдия отперла ей дверь, не спросила, кто идет. В сером сумраке сеней глаза Клавдии казались огромными. «Где же?» — спрашивали, кричали они матери.

— Лежит, — тускло сказала мать и облизнула запекшиеся губы. — Не велят брать.

Они прошли в комнаты, держась за руки, как подружки, и тут Клавдия опустилась на колени перед пустым ложем отца, медленно погладила чистую грубую простыню и сказала, глотая слезы.

— Мне жалко отца. Я как будто и не любила его, а — жалко.

— Не любить нельзя, — строго поправила ее мать. — Одна кровь.

— Пусти меня. Хочу с ним проститься.

— Пустить бы надо, да нельзя. Не просись.

— Я палку возьму, хромать буду.

— Не пущу.

Так они спорили, горевали, вспоминали старика весь вечер. Было уже темно, и Клавдия только смутно увидела, как побелело, стало неподвижным лицо матери.

Клавдия близко подсела к матери, стиснула ее большие холодные руки и вдруг сказала с силой, не разжимая зубов:

— Проклятые немцы! Проклятые! — и упала головой на колени матери.

Мать сидела над ней, прямая, с белым лицом. Она все понимала и не говорила ни слова утешения: старая, сильная духом, только что потушившая в себе первый приступ мстительной ярости, — она знала, что в палящей ненависти так же, как и в смерти, не должно быть никаких слов утешения...

Немцы днем и ночью рыскали по улицам железнодорожного поселка. С ножами у пояса, длинноногие и какие-то белоглазые, — они стояли на всех дорогах и стреляли во всякого человека, иду-

щего из леса или в лес. Этот лес означал для немцев — «партизаны», а партизан они боялись. Жителям поселка предоставлено было «в свободное пользование» одно только булыжное шоссе, которое соединяло поселок с городом.

Город стоял всего в полуверсте от вокзала, по-прежнему невредимый и знакомый до последнего флигелька. Но жители поселка знали, что в городском парке на старом дубе раскачивается труп семидесятилетнего часовщика Рабиновича, что три молоденькие девушки, схваченные немцами прямо на улице, исчезли бесследно и что, наконец, бургомистром над Прогонной немцы поставили старого пройдоху Степана Лукича Касьянова. В этих обстоятельствах жители поселка сделали единственно возможное «невоспрещенное»: они спрятались по домам, потаенно надеясь отмолчаться и отсидеться от беды. У многих из них на каждый день и на все дни была одна и та же цель: потихоньку прожить до ночи, чтобы самозабвенно погрузиться во тьму и беспамятство сна. Однако и ночи ничем не отличались от дней и также были наполнены страхами и ожиданием беды. По ночам на Улице то и дело раздавались потерянные крики, и утром шепотком, из двора во двор, перекидывались слухи о том, что ночью такой-то был убит, а такая-то изнасилована или ограблена до нитки.

На первом и единственном «общем собрании», на которое немцы согнали жителей поселка, выступил толстый и красноносый немецкий офицер. Глядя куда-то поверх голов, он с брезгливой надменностью сказал, что отныне все русские, от детей и до стариков, должны работать на немецкую армию.

Как бы в ответ на эту речь кто-то взорвал ночью железнодорожный мост через Боровку. Наутро немцы собрали стариков и подростков и под конвоем погнали их чинить мост. Трое стариков, из наиболее пугливых, заявили о своем желании работать добровольно. Немцы освободили их от конвоя, выдали охранные грамоты и стали платить кружку пшеницы в день и германские бумажные деньги, марки, которыми, — за полной их ненужностью, — играли ребятишки. И кружки пшеницы, и нигудьшные деньги были беспощадно высмеяны в поселке, и к «добровольцам» быстро установилось настороженное, язвительно молчаливое отношение.

Вместе с жителями поселка на мосту и на железнодорожном полотне работали пленные красноармейцы. Немцы называли их — «Иваны». В этих оборванных, грязных, истомленных существах трудно было узнать молодых русских мужчин.

В полночь и на рассвете, в урочные часы, на Прогонной слышались редкие, как бы недоуменные, петушиные голоса. Немцы уничтожали птицу и скот с какой-то оголтелой торопливостью. В ведро супа они закидывали по четыре курицы! Во дворе комендатуры через каждые два-три дня забивалась новая корова. Внутренности немцы иной раз выбрасывали пленным. Сытые и часто пьяные солдаты выкрикивали песни или же скрипели на губных гармониках.

С каждым днем жизнь в поселке становилась все более тесной и душной. Вокруг плененных людей как бы сжималось железное кольцо. На улицах уже давно не слышно было не только песен, но и просто громких, свободных голосов. Сама земля, казалось, уходила из-под ног.

Но труднее всего было видеть и терпеть немцев в своем доме и в семье.

Входя в дом, немец не только не хотел смотреть на людей, не только не видел их, но он как бы заранее считал, что здесь нет людей, кроме него, немца, хозяина и господина. Его светлые пустые глаза совершенно одинаково, без всякого выражения, останавливались на цветной тряпке, и на стуле, и на ребенке, и на матери. Немцы брали все, что попадется под руку: скатерти и обувь, полотенца и попельницы, куклы и будильники, рамки от фотографий и хлеб.

Все хозяйки поселка приноровились печь хлебы по ночам. И мать Клавдии, когда в доме не стало хлеба, затеяла большую квашню с таким расчетом, чтобы тесто подошло в ночь. Тут-то и случилось непредвиденное.

Едва мать успела истопить печь и посадить хлебы, как в сенную дверь нетерпеливо застучали.

Дав Клавдии время спрятаться на полатах, мать отперла дверь. На кухню, наполненную теплыми запахами пекущегося хлеба, вошел один из непрошенных немецких постояльцев. Мать уже знала этого молодого, длинного и жидковатого в талии, солдата.

Потянув носом, он только сказал: «О!» — и резким солдатским шагом подошел к печке. Заслонку он открыл довольно ловко, а каравай придвинул к себе поленом. Но едва он, обжигая руки, схватил каравай, как полусырой хлеб разломился и большая кроха шлепнулась на пол.

Тощее, остроскулое лицо немца изобразило удивление. Он показал на хлеб, на печь, на свои ручные часы и деловито спросил:

— Сколько час?

Глухой ответ: «Часа через два поспеет» удовлетворил его, и он развалился на скамье: ждать.

Мать, напряженно подняв плечи, прибрала за ним и закрыла печь. Она тоже села на лавку, опустила глаза. Ей видны были только сапоги немца, — короткие, с уродливыми голенищами, расширенными сверху. Она смотрела на эти тупые неподвижные носки и обдумывала, взвешивала все движения, какими она, стоя спиной к немцу, будет вынимать хлебы из печи: непременно надо успеть отломить хоть кусочек для Митеньки...

Ей вдруг показалось, что Клавдия смотрит с платей. Она порывисто выпрямилась, но побоялась взглянуть наверх, погрозить дочери. Ее прямой пристальный взгляд встретился с хмурыми, глубоко посаженными, постылыми глазами немца.

Он кисло усмехнулся, причем глаза у него остались колючими, и процедил:

— Вы хуже швайн.

Мать промолчала, но взгляда не опустила. У немца были прямые волосы, цвета тусклой соломы, и весь он как-то выщел — от белесых бровей до смятых разболтанных сапог. Он был, пожалуй, в одних летах с ее сыном Дмитрием. Но трудно было верить, чтобы и этого прожорливого рыжего зверя, который убивал русских детей, тоже родила женщина.

Немец между тем, явно смучая, полез в боковой карман и за уголок вытянул фотографию.

— Майн хауз! — с гордостью сказал он, глазами приказывая матери подойти.

Она встала и пошла к нему на слабых, непослушных ногах. На карточке был изображен приземистый двухэтажный дом. Около дома виднелся неясный силуэт женщины.

— Майн фрау! — пропел немец, закатывая глаза, — уже только для себя, потому что старуха недостойна была смотреть на его фрау.

Мать отошла и боком, неловко села на скамью.

— Ан-на, Мари-я, — немец брезгливо оттопырил губы и покосился на мать. — Так у нас зовут короля. Русский человек — глупый!

Он постучал пальцем по лбу и серьезно, с сокрушением покачал головой. Но старуха отвернулась к окну. Ее крупное бледное лицо было бесстрастно.

— Русский девушек — жемиться? — немец спрятал карточку и сделал испуганные глаза. — Фи, гадость!

И снова на лице старухи ничто не дрогнуло: она словно была слепа и глуха. Немец раздраженно взглянул на часы, у него не хватало терпения ждать. Старухе пришлось вынимать хлеб. Караваны еще были тяжелы на вес и совсем не подрумянились, но не все ли равно — какой хлеб сожрет эта немецкая швайн?

Суетясь у печи, мать торопливо оторвала влажный припёкушек у самого большого каравая и сушила его за пазуху.

Немец, неторопливо насвистывая, вытянул нож из темных ножен, — скорее всего, чтобы отрезать хлеба. Но внезапно странная улыбка тронула его тонкий недобрый рот. Он встал. Нельзя ли все-таки заставить говорить эту старуху, молчаливую как идол?

Мать услышала резкое движение на полатах и — одновременно в ее руку, около локтя, ткнулось что-то острое и тонкое, как игла.

— Юй, господи! — во весь голос, иступленно сказала мать, стараясь заглушить все звуки на

кухне. «Клавдия, молчи!» — хотелось крикнуть ей, но она сдержалась и только вся облилась жарким потом.

У локтя выступила крупная капля крови. На полатях все стихло. Немец, как ни в чем не бывало, посмеиваясь глазами, объяснил:

— Ничего, пустяк, я немножко пробоваль нож. Хороший немецкий нож.

Теперь он смотрел не в лицо матери, а куда-то на ее шею, — а она ничего не боялась и только с ужасом думала, что он дотадался о прилё-кушке.

Немец быстро дернул за цепочку, что видна-лась у ее воротника. Легкий серебряный крестик с синей эмалью вылетел из-за пазухи и очутил-ся на ладони у немца.

— Бог — это хорошо, — сказал он, разочарован-но вертя крестик и щупая дешевенькую протем-невшую цепочку.

Он наконец отпустил потную багровую стару-ку. Уходя, нагруженный хлебом, он горделиво показал себе на живот:

— У нас даже здесь — бог!

На животе у него действительно блестела пряжка с одноглавым орлом и с надписью, ко-торая, как говорили, обозначала: «С нами бог!»

Мать нагнула крючок в сенях и вернулась. Среди кухни стояла Клавдия — босая, в темном платье, распутившемся почти до пят, с малино-вым пятном на одной щеке. Она с такой поспеш-ностью кинулась к матери, что та вздрогнула и остановилась у порога.

Клавдия схватила мать за локоть, нашла под-сохшую капельку крови и с нежной осторож-ностью прижала к себе руку матери.

— Я бы его убила... там есть полено... — задыхаясь, прошептала она; губы у нее прыгали, спутанные волосы упали на глаза.

— Отмолчалась. — Мать пристально взглянула на пылающее лицо дочери. — Теперь тебя не удержишь.

Тут силы ее покинули, она тяжело опустилась на скамью, всхлипнула и схватилась за грудь.

— Расстегни-ка, палит...

Торопясь и отрывая пуговицы, Клавдия расстегнула матери платье на груди и вскрикнула: смятый и еще теплый хлебный мякиш упал в колени матери и открыл розовое длинное рваное пятно ожога. Мать сутуло прислонилась к стенке, закусил губы. По лицу ее лились слезы.

— Ничего, ничего, — пробормотала Клавдия и сразу перестала дрожать. — Пройдет. Ты просто забыла про кусок!

— Это — ништо-о, — жалобно, со стоном протянула мать. — На сердце жжет, накипело..

Клавдия сделала прохладный содовый компресс и ловко перевязала ожог чистым полотенцем.

— Теперь пойдём, — твердо сказала она, приподымая мать за локти. — Я с тобой лягу.

Мать послушно вытерла слезы и побрела в спальню. Там Клавдия разделала ее, взбила подушки, наскоро спустила с себя платье и юркнула под одеяло.

Глубокая, покойная темнота спальни — плотно охватила их обеих. Рядом, в плетеной Морушкиной корзинке, слабо посалывал Митенька, в столовой размеренно, с хрипотцой тикали часы с кукушкой.

Перед Клавдией словно в тумане прошло воспоминание вот о такой же темной прохладной

ночи, когда она прибежала к матери в одной рубашке и, дрожа от робости, говорила об отце и о счастливых своих предчувствиях. «Это у тебя девичье», — сказала тогда мать...

Апрель, май, июнь... а теперь — август, — всего только пять месяцев прошло, а кажется, что прожиты долгие-долгие годы. Вот так она и состарилась за войну, и Павел, — чего доброго! — просто-напросто не узнает ее. А где он теперь — Павел? Помнит ли он ее, думает ли о том, что она ждет, ждет, ждет...

«Ах, Павел, единственный мой, смогу ли я рассказать когда-нибудь о том, как в город, в мой город входили немцы, чужие и ненавистные? Они прошли по моей улице, Павел, они прошли по той улице, где я училась ходить, и вечерняя заря пламенела над ними, и подкованные их сапоги цокали по камням мостовой, и я глотала пыль, поднятую их ногами! Что я могла сделать, Павел, что я могу сделать теперь, когда рядом лежит обиженная немцем старая моя мать? Мне восемнадцать лет, Павел, а в жизни моей остались только ненависть и страх! Отца уже нет на свете; и я боюсь думать, что и тебя... Нет, нет, это невозможно, этого не должно быть...»

Клавдия закрыла глаза и твердо приказала себе не думать о том страшном, о самом страшном, что могло произойти с Павлом. Но против воли мысли ее все возвращались к Павлу, к тому, что от него она так и не получила письма, что он, может быть, ранен, попал в плен или же...

Она не смела даже подумать «убит», но сердце ее исходило болью и подавляемые рыдания беспощадно схватывали горло. Обессилен от борьбы с собой, она решила, что ей лучше всего встать

и заняться чем-нибудь: можно было, например, завести часы. Осторожно, чтобы не разбудить мать, она приподнялась на локте, — в этот момент в окно ее прежней комнаты, где теперь спала Елена, кто-то тихо-тихо постучал или, вернее, не постучал, а поцарапал.

Клавдия с кошачьей ловкостью выскользнула из-под одеяла, ощупью схватила платье и на цыпочках вошла в комнату Елены.

21

Окошко выходило в сад к соседям и не закрывалось ставнями. Елена сидела на постели. Присев к ней, Клавдия сразу почувствовала, как она дрожит от испуга. Клавдия положила ей руку на плечо, и они обе уставились на синее в неясном сумраке окно. Там метнулась тень, потом в стекло снова поцарапали. Елена легонько крикнула, и Клавдия безжалостно давила ей плечо.

Накинув платье, Клавдия поднялась и просто, — только изо всех сил стиснув зубы, — сказала:

— Я выйду сама.

Елена с ужасом посмотрела ей вслед. В темноте Клавдия показалась ей высокой и очень похожей на мать.

В сенях Клавдия бесшумно сняла крючок, постояла. На крыльце легко скрипнула ступенька, — та самая, на которой прогибалась доска. Клавдия едва не закричала, зубы у нее клацнули: снова накинуть крючок было уже поздно, — она слышала за дверью чье-то прерывистое дыхание. Она подумала: это не мог быть немец, — он не стучал бы так тихо, — приоткрыла дверь и отпрянула в темный угол.

В синем, ночном свете возникла невысокая мужская фигура.

— Не бойтесь, кто тут... — сильным шепотом сказал неизвестный и протянул руки, ощупью входя в сени.

Клавдия не двигалась, не дышала. Незнакомец плотно закрыл дверь и повторил все так же тихо:

— Не бойтесь, где вы?..

— Здесь, — шепнула Клавдия из своего угла.

— Заприте дверь и дайте руку, — быстро, повелительно сказал человек.

Взявшись за руки, они вместе вошли в кухню. У порога они остановились, разминув руки. Клавдия принялась молча исподлобья разглядывать ночного гостя.

Он в свою очередь быстро осмотрелся, спросил: «У вас чужих нет?» — и с облегчением повалился на скамью.

— Ты, наверное, Клавдия? — Он как будто усмехнулся и вытер лицо рукавом. — Да ты уж большая!

Наверное, он был молод. Под непослушной копной волос угадывались пристальные улыбочивые глаза. Клавдия вспомнила, что стоит перед парнем босая, в неподпоясанном материнском балахоне...

— Это меня мама нарочно так одела... от немцев, — сказала она каким-то не своим голосом и вся вспыхнула. — А вы — кто?

— Я от твоего брата, от Сухова Дмитрия. Повови-ка мне мать...

Клавдия тихонько разбудила мать и, не утерпев, шепнула, от кого пришел неожиданный гость.

— Ай, батюшки! — сказала мать почти с испугом и стала одеваться так торопливо, словно парень мог уйти. Клавдия, успокаивая мать, несколько раз поймала в темноте ее дрожащие руки и сама отправила ее платье и волосы. Елене Клавдия велела спать, сказав, что пришла соседка.

Парень встал навстречу.

— Сын ваш Димитрий жив и здоров, — с волнением сказал он, — вам кланяется и говорит спасибо за сынишку и за жену, что приветили их. Прямо-таки, матушка, — добавил он, сбиваясь с торжественного тона, — велел поцеловать вас по-сынисьвому.

Мать широко раскрыла руки, немая от радости и все-таки сохраняя в тяжеловатом взгляде и во всей фигуре своей то самое горделивое достоинство, какое очень любила в ней Клавдия.

— Ну, поздороваемся, сынок, по-русски.

Они обнялись и крепко троскратно поцеловались.

— Где он? — сипло спросила мать, ласково задерживая руки на литых плечах парня.

— В лесу.

— В лесу, — повторила она, все еще не отпуская парня. — Так мне и думалось. Дай-ка погляжу на тебя поближе, а то, вишь, как темно... Глаза у тебя... веселые. Мы-то здесь, милый, не с людьми теперь живем. Взгляд у них — волчий, с холодом... Клавдия!

Мать живо повернулась к Клавдии, неподвижно стоявшей у печи.

— Поди-ка, дочка, в сенцы. Пригляди, как бы не пожаловали.

Клавдия нехотя вышла в сени, неплотно прикрыв за собой дверь. Она встала у наружной до-

щатой стенки, свозь длинные щели которой сочился лиловатый нежный свет августовской ночи.

Где-то, на краю поселка, одиноко сонным и совсем дурным голосом пропел полночный петух. Ему откликнулся другой — уже совсем на краю света. Со странным чувством Клавдия глядела в щель — на мертвенно-пустой двор, куда она теперь совсем не выходила. Неужели действительно запрещены, прокляты, невозвратимы — вот эта хоженная-перехоженная земля, сад, тайная тропинка, по которой, бывало, босые загорелые девочки с Прогонной бегали в овраг за колючей сочной травой «дикушей»? И сладкая серебряная вода родника, что бьет из глиняной горы? И теплые от солнца, краснобокие ягоды клубники, что зреют в лугах, вон там, за крайним домом одноглазой бабки Костычихи? Нет, не может быть, не может быть!..

Клавдия даже притопнула ногой и сердито сжала кулак. В это мгновение в соседнем доме, где жили немцы, скригнула дверь и на крыльцо вышел солдат, босой и весь в белом. Несколько секунд он стоял неподвижно, лицом прямо к Клавдии, и, наверное, жадно глотал воздух. «Нашим хлебом объелся!» — злобно подумала Клавдия. У нее даже как будто заломило в пальцах: а что, если подкрасться сзади, по-кошачьи, незаметно сдавить обжорное горло и не разжимать пальцев до тех пор, пока...

Немец промком позевнул и, не отворачиваясь, не сходя с крыльца, стал справлять нужду.

Клавдию бросило в жар, и она, вытянув руки, пошла на кухню.

У самой двери она остановилась и заставила

себя вернуться в угол, к щели. Крыльцо снова было пусто, и только одна половника двери осталась растворенной.

Клавдия изнеможенно закрыла глаза. За дверью, в кухне, приглушенно разговаривали. Клавдия велушалась.

— ..в землянках так и живем, в глуши, не найдешь нас.. Митя да Митя, — любят его.. Он — тихий у тебя, а смелый. За то и командиром его выбрали.. Дмитрия Сухова отряд, так-то.

Клавдия горделиво выпрямилась, сердце у нее заколотилось.. Ты, рыжий вор, любитель чужого хлеба, — знаешь ли ты, что мой брат Дмитрий поставит тебе пулю!

Сна, усталости, тоски как не бывало. Слабо улыбаясь, Клавдия пошла в кухню и присела на скамью, у порога. Мать и партизан, должно быть, уже поговорили и про отца, и про беду с Митенькой, и парень посуровел лицом, а в больших серых глазах матери стояли слезы.

— А Елене я тебя не покажу, — сказала мать после короткого молчания. — Спит — и пужкай спит, ничего не ведает. Мужнины поручения или советы какие имеешь — говори мне. Слабовата она, Елена-то, в случае чего, не стерпит. Понял, сынок?

Парень покорно кивнул кудлатой головой и сказал с сожалением:

— Итти мне надо, Матрена Ивановна, до рассвета, чтобы и след мой замело. Приказ такой имею.

— Сейчас, сейчас, — заторопилась мать.

Бесшумно, с бывалой ловкостью, она проскользнула в чулан.

Прежде чем открыть укладку, мать постояла

неподвижно, с протянутыми руками, во тьме, которая пахла чем-то домовитым, чуть затхловатым, родным. Это было мгновение необыкновенной, счастливой полноты. Весть от сына и облегчительная мысль о том, что она может ему помочь, — подняли ее над всем горем жизни. Она снова ощутила себя сильной и еще достаточно молодой: действовать, теперь можно было действовать! Кончилась жизнь под каменной плитой молчания и бессильной ярости! Там, в лесу, в безвестных землянках, упрямо струилась ручеек настоящей человеческой, вольной жизни. И, должно быть, много таких ручейков текло, теперь по могучим лесам сожженной, разграбленной, окровавленной земли. А ведь еще деды говорили, что из ручьев — реки сливаются, а на реках — море стоит!..

Ощупью со дна укладки Матрена Ивановна достала Диомидово добро: новые суконные брюки, сатиновую рубаху, две пары белья. Потом в спальне подняла крашеную половицу, заставила Клавдию спуститься в подполье и разыскать там усоловшийся заветный кусок свиного сала. «Ничего не жалко», — с удивлением и легчайшей радостью подумала она и пошла на кухню.

Там она заставила парня переодеться во все чистое и, пока он смущенно возился за печкой, стояла среди кухни, скрестив руки под грудью, и обдумывала свое материнское слово Дмитрию. «Готова ли ты отдать, если понадобится, все, что копила с Диомидом изо дня в день, на чем с молодости стояла твоя жизнь: дом, сколоченный твоими руками, последний мешок ржи, спрятанный в подполье? Готова ли, если понадобится, лгать и угождать немцам? Умереть — молча, в

мерзкой веревочной петле?» Так она спросила себя, словно на самой строгой, неподкупной исповеди, — и твердо, с облегчением усмехнулась: да, готова!

И когда парень, в широковатых брюках Диомида, в сатиновой, поблескивающей рубашке вышел из-за печки, мать обернулась к нему такая бледная, строгая и просветленная, что он оробел и стал неловко одергивать рубашку.

— Слушай, чего скажу, — глуховато, но отчетливо начала мать. — Дмитрию, сыну, и всем своим товарищам передай от меня, старухи: пусть считают меня своей партизанской, родимой маткой. Каждого встречу, как сына, обмою, одену, накормлю. Если надо — все визнаю, притворюсь, угожу белоглазым. Ничего мне теперь не жалко, и ничего не страшно... Вот так и передай, — повелительно закончила она и снова раскрыла руки. — А ты, парень, как же пойдешь-то? — буднично, озабоченно спросила она, когда они попрощались.

Парень усмехнулся, махнул рукой:

— Больше ползти, придется, запачкаюсь опять, зря нарядился. Думаю, через линию. Дорога не очень мне известная, я ведь не здешний.

— Мама, ему надо овражком, — несмело вмешалась Клавдия и вдруг прибавила: — Я провожу?

По лицу матери прошла неясная тень. Она, по привычке, крепко вытерла губы, перевела заблестевший взгляд на партизана и ровно ответила дочери:

— Ступай. Возьми платок в спальне.

Клавдия стремительно кинулась в комнаты, а мать, торопясь, шепнула парню:

— Ты на нее надейся: она у меня — с характером.

Прощаясь, она прижала к себе Клавдию — и на мгновение обессилела.

— Я скоро вернусь, мама, в окошко стукну, — сказала Клавдия совсем обыкновенно, даже весело.

Мать поцеловала ее в лоб и тихо открыла дверь.

Клавдия, а за нею парень выскользнули на крыльцо и сразу бесшумно растаяли в ночи.

22

Шел тот тихий предрассветный час, когда на земле не шевельнется ни одна травинка и лет стоит в бронзовой неподвижности и кони в лугах насыпают, свесив тяжелые морды.

На перекрестке дорог, сливаясь с зеленью садов, прячется бессонный немецкий часовой. На востоке, за лесом и полями, истерзанными снарядными воронками и рваными дорогами танков, гремит, пламенеет фронт великой войны. И здесь, на милой земле детства, надо идти радучись, вслушиваясь во всякий легчайший звук. Но, вопреки всему, Клавдия остро радовалась тому, что вырвалась наконец из страшной тишины дома. Вернется ли она на свои полаты? Да, она вернется к матери, но...

Они идут через огороды, задевая плечами тяжелые решета подсолнухов, и Клавдия с веселой, бездумной жадностью вдыхает свежайшие ночные запахи — спелого гороха, топелей, мокрой травы.

Молча, уверенно ведет она парня через знакомый проходной двор. Они останавливаются в тени за воротами, и Клавдия, слыша около себя го-

рячее дыхание парня, показывает ему раскрытую калитку на той стороне улицы. За тем двором — большой яблоневый сад, а дальше — нескошен-ные дуга.

Втянув голову в плечи, парень наискось побежал через улицу. А за ним темной легкой тенью помчалась Клавдия. Они столкнулись в черном провале калитки и, после минутного замешательства, не стовариваясь, скользнули на теневую сторону двора.

В саду смутно белели корявые стволы яблонь. В этом году яблоки не уродились. но Клавдия почему-то явственно слышала сладостные прохладные запахи зреющей антоновки.

За садом парень упал в высокую траву и быстро, не оглядываясь, пополз вперед. За ним, шопотом указывая направление, неловко поползла и Клавдия. Ей ужасно мешало платье, оно сразу стало влажным, путалось в коленях, душило в воротах.

Потекли долгие минуты, наполненные шелестом травы и собственным трудным дыханием. Она не успела предупредить парня, и он завалился в глубокий овражек, где всегда росла высокая злая крапива.

— Мы, маленькие, за дикушей сюда приходили, — виновато сказала Клавдия и встала во весь рост. — Отдохните, здесь можно.

Парень осторожно, носком сапога, раздвинул траву, сел и, ворча, принялся отряхивать даренные матерью брюки.

Светало. Кое-где в гуще травы уже начали смутно поблескивать крупные капли росы, легкая пелена ночного тумана отошла к лесу. Клавдия взглянула туда, в синюю заманчивую темень ле-

са: там были — брат ее Димитрий и, может быть, Степанов, Бомба...

Когда парень поднял голову, Клавдия все еще стояла перед ним. Несмотря на хромоту, она была очень стройна, и в ней, пожалуй, уже угадывалась материнская дородность фигуры. «Девчушка хроменькая», — говорил о ней Димитрий. Он, верно, совсем не помнил ее или — давно не видел?

Клавдия заметила его пристальный взгляд, улыбнулась, — улыбка у нее была особенная, затаянная.

— Я знаю, какую клятву вы даете там, в лесу, — сказала она вдруг, глядя на него прямо и смело. — Я, красная партизанка, даю свою партизанскую клятву...

Медленно, вспоминая слово за словом, произнесла она партизанскую клятву. Он смотрел на нее, изумленно приоткрыв пухлый мальчишеский рот. В сером, неверном свете занимающейся зари он увидел, что глаза у нее огромные, темные, наполненные слезами.

— Димитрий не узнал бы тебя, Клавдия, — растерянно сказал он.

— Я ведь уж и правда, — большая, — медленно, покусывая губы, ответила она. — У меня муж пропал без вести, и отца убили, и мать вот вся седая стала. Послушай, товарищ... — она вытерла слезы по-ребячьи, кулаком. — Скажи Мите: я приду к нему.

— А мать как же — одна останется?

— Она и сейчас одна: я из лесу скорее ей помогу, чем с полатай.

— С полатай? — не понял он.

— Ну, да. Скажи Мите! Ведь ты еще придешь к нам?

Он нахмурился.

— В нашем деле выдержка нужна, а ты вон — вся дрожишь.

— Испытайте! — сипло перебила его Клавдия, кашлянула и повторила ясно, требовательно: — Испытайте, говорю!

Он молчал, вглядываясь в ее бледное худенькое лицо, на котором властно и притягательно блестели глаза.

— Что для этого нужно? — спросила она, рассеянно перебирая пальцами каштановый кончик косы. — Обрезать косу? Надеть брюки? Я сильная — и очень далеко вижу. Я на все согласна. Только бы не сидеть взаперти, не молчать. Умереть? Тоже — согласна.

— Ну, это што-о, — протянул парень и усмехнулся. — Главное — это воевать.

Он спохватился, что светает, сердито вскочил, заторопился.

— Ладно, передам Димитрию, как он там репит, — сказал он Клавдии на прощанье.

Клавдия подождала, пока он скрылся из глаз и потревоженная трава снова сомкнулась и затихла.

Стало уже светать, Клавдии тоже следовало торопиться. Она попыталась ползти, как это делал парень, — поджимая ноги по-лягушечьи, но почему-то это никак не удавалось ей, и она только рассердилась на свою неловкость.

Через улицу она перешла, почти не сгибаясь, и, вместо того, чтобы проскользнуть через яблочный сад и сквозные дворы, повернулась и по-

шла по улице. «Обойду кругом, хоть издали на вокзал взгляну», — решила она.

На углу она замедлила шаг и со странным чувством смятения взглянула на седую от пыли площадь перед вокзалом, где она знала каждый булыжник. Площадь была пуста, газетный киоск накренился набок, распластав в пыли полуотрванную дверь.

Клавдия перевела взгляд на вокзал — и вся вздрогнула: низенькая облупленная дверь с дощечкой «служебный вход» раскрылась и из нее вышел... Яков!

На нем была форменная тужурка, под рукой же он держал папку, и вид у него был самый обыкновенный, как будто он вышел из аппаратной с очередного дежурства.

«Он работает там!» — ужаснулась Клавдия.

Самым правильным было бы отойти в тень от крыльца или спрятаться в саду. Но Клавдия во все глаза глядела на Якова, — он шел прямо на нее, — и стояла на месте. «Предатель!» Клавдия впервые в своей жизни произнесла это слово и тотчас же повторила его с невыносимым отвращением: «Предатель!» Черная каменная тяжесть была в этом слове. Оно должно было вдавить человека в землю, сжечь его, превратить в пепел!

А он, Яков, шел к ней с чудовищным, рыбьим спокойствием, как будто в этой мертвой улице, в каждом доме, в каждом взгляде не было уготовано ему смертельное проклятье: предатель!

Клавдия медленно стянула с себя платок. Вот оно, испытание: пусть узнает ее сразу, пусть!

Яков шел, по своей привычке глядя в землю. Он почти наткнулся на неподвижную Клавдию и,

пораженный, несколько минут беззвучно шевелил губами.

— Работаете? — с трудом, проглотив слюну, спросила Клавдия.

— Касьянов, понимаешь, заставил, — развязно ответил Яков и даже сдвинул на затылок кепку. — А ты, в случае чего, приходи... старого не вспомню.

Клавдия слушала его, странно приподняв плечи, и он вдруг увидел, что она судорожно мнет, почти рвет концы темного платка.

— Может, и заступиться придется... — неуверенно проговорил он и выжидательно замолк.

— Какой же ты... — Клавдия шагнула к нему и стиснула кулаки. — Я все-таки не думала... Господи, я все-таки не думала, что ты — такая мразь!

Он встретил ее темный, прямой, палящий взгляд и беспокойно переложил папку в другую руку. «Чего доброго, — подумал он, — эта чертовка еще плюнет в лицо или расцарапает глаза. Надо припугнуть ее».

— А мы аппарат чиним, — с вызовом сказал он и усмехнулся дрожащими губами. — Это ты его так раздолбила?

Клавдия презрительно промолчала.

— Ты не очень гордись. — Яков снова насильно усмехнулся, и голос у него перешел в фистулу. — Я еще помню, где ты живешь.

Клавдия подчеркнуто медленно расправила платок, накинула его на плечи и тихо сказала своим грудным голосом:

— Мне нечего бояться. А вот ты, я смотрю, скоро забыл про тот разговор...

— Это ты про Степанова... — пренебрежительно пробормотал Яков, но лицо его посерело.

— Ну, да. И про того, кудрявого.

— А-а... Это — еврейчик-то? Поду-умаешь!... — Он даже попытался засмеяться, но вышло так, словно он икнул.

Клавдия вся вспыхнула.

— А ты — кто? —

— Я — русский, мне што, — Яков даже приподнял в недоумении свои бесцветные бровки.

— Какой же ты русский? Ты — русский! — Клавдии казалось, что она кричит на всю улицу, у нее было как-то холодно на сердце, и она теперь ничего не боялась. — Да ты — самая последняя мразь! Падаль! Прах с немецких сапог!

Это было уж слишком. Яков смерил ее взглядом, слепым от ненависти. кулаки у него сжались: ударить, отшвырнуть, убить! Он оглянулся с таким видом, что вот сейчас кого-нибудь позовет, — ведь он здесь хозяин, в конце концов!

Клавдия насмешливо глянула на его трясущиеся руки и сказала с каким-то отчаянным вдохновением:

— Не тронешь ты меня! Не посмеешь!

«Ничего со мной сейчас не случится» — сказала она себе, хотя земля уплывала у нее из-под ног.

Яков ничего не сказал. Она подождала немного, потом повернулась и пошла — стройная, сильная, не прежняя, в длинном темном платье, с непокрытой светлорусой головой. Так она дошла до угла и, не оглянувшись, завернула на свою улицу.

Клавдия так и не сказала матери, что решила уйти в лес, к Дмитрию. Но мать, кажется, догадалась обо всем. Она не обмолвилась с дочерью ни одним словом и только стала обращаться с ней, как с гостьей, — недолговечной в этом доме и милой сердцу. Клавдия все чаще ловила на себе долгий испытующий взгляд матери и вся холодела от жалости: что чувствовала она, мать, молчаливо отпуская от себя последнее свое дитище? Ночами, просыпаясь, Клавдия видела, как при слабом свете коптылки мать что-то выкраивала, шила, штопала: да, она собирала дочь в дальнюю дорогу!

Обе они, хоронясь от болезненной и робкой Елены, нетерпеливо ждали условленного свидания с партизаном, посланцем Дмитрия, который так и не назвал своего имени.

Партизан пришел через неделю.

День тот был особенно долгий, жаркий, томный. Только в сумерки потянуло свежим восточным ветром и над поселком понеслись низкие иссиня-черные тучи. Однако дождь и гроза прошли стороной. К ночи ветер покрепчал. Он со свистом пронизывал улицы поселка и поднимал высокие столбы пыльного вихря.

Суховы рано отужинали и легли спать. Мать долго лежала с открытыми глазами. Комнаты — звонь щели ставен — то и дело бесшумно озярялись неярким, вишневым светом зарниц, от которого на сердце у матери становилось неспокойно. Она вздохнула и прислушалась. На восточной, московской стороне еще слабо рокотал гром. За окном порывисто ленилась листва, и где-

го близко, наверное, на крыше соседнего дома, надоедливо скрежетал сорванный бурей железный лист.

Мать незаметно задремала и проснулась оттого, что в окно спальни легонько стукнули три раза и, как было условлено, еще три раза.

Мать встала, улавливая встревоженным ухом сразу все — и глубокую тишину в доме, и сонное почмокивание Митеньки, и беспокойное движение в улице. Подойдя к окну, она беззвучно растворила обе створки. На подоконник тотчас же всем телом навалился, словно упал, ночной гость. Мать узнала его сразу и помогла влезть в комнату.

— Целый? — испуганно спросила она.

Парень кивнул лохматой головой и прохрипел: — Напиться бы...

Рубаха на плече у него была располосована так, что рукав едва держался, и в прореху виднелось желтое тело.

Он выпил целый ковш квасу и устало отказался от еды: он хотел только спать...

Они говорили шепотом, освещаемые лихорадочными, почти непрерывными вспышками ночной молнии, и у матери стесненно колотилось сердце от мысли, что кто-нибудь из немцев, живущих во втором ее доме, может из злобного любопытства приоткрыть ставню и заглянуть в комнату. Клавдия, которая уже проснулась и сидела на кровати, беспокойно взглядывала на окна и потом — на мать. Только один партизан, казалось, не думал или не мог думать об опасности: он стоял перед матерью, качаясь от усталости, и повторял одно: спать, спать!..

Матери пришлось затаить в себе весь страх за

парня, за свою семью, за Дмитрия, о котором ей очень хотелось спросить. Сжав губы, она вынула половицу в спальне, велела парню спуститься в подполье и слушать, где она постучит ногой: там, в углу, под кухней, была свалена груда теплой одежды.

Парень опустил ноги в прохладную тьму подполья и, еще держась за половицы, совсем сонный, сказал:

— Просплю, наверное, весь день. Вы, матушка, не тревожьтесь, — я три ночи не спал. А как темнеет, пойдем, — он кивнул на молчаливую Клавдию, — с ней вместе. Дмитрий велел.

Мать даже не оглянулась на Клавдию. Она аккуратно закрыла половицу, прошла в кухню и зажгла коптилку: ей нужно было зачинить рубашку партизана.

Клавдия под села к матери на скамью.

— Ты прости меня, мама, — робко сказала она.

— За что простить-то? — не сразу ответила мать, продолжая шить.

Они помолчали, обе думали об одном и том же: о разлуке.

Но Клавдия ведь уходила из дома совсем не так, как ушли сыновья. Мать провожала в трудный и, может быть, смертный путь последнее свое дитя, — и, у нее не было в сердце памятной и все еще живой, раздражающей боли. Не смерть ли, не позор ли ждали Клавдию, если бы она не решилась покинуть родной дом? И разве через Клавдию мать не соединялась вновь с младшим, самым любимым сыном Митей: она отдавала ему все, что осталось у нее от семьи, — молоденькую, жалостно любимую дочь.

Да и могла ли она углубляться в свое малень-

кое горе, когда крутом нее, на всей земле, текли черные реки беды?

К тому же, каким-то краешком сердца она крепко верила, что и Клавдия, и Димитрий, а может быть, даже и старший сын Сергей соберутся под родной крышей после этой долгой, опустошительной прозы. Они придут усталые, постаревшие, другие, — но они будут здесь и, значит, проведут ее в последний путь, когда настанет ее час...

Мать выпрямилась, вытерла сухие глаза, иглолка споро замелькала в ее руках. Только все-таки слишком быстро пришла эта разлука с Клавдией. Вот она, молчаливая, испуганная, сидит, тесно прижавшись к матери. И, кто знает, — может быть, это и есть самое великое счастье на земле: чувствовать около себя тепло родного, жадного на ласку человека, его тихое дыханье, его голос?

— Решилась, так уж ступай, не мучайся, — медленно сказала мать, горько споря с самой собой. — Ищи себе защиты сама.

Обессилев, она опустила шитье на колени и всхлинула.

Клавдия робко обняла мать и спрятала лицо у нее на груди.

— Я ничего не боюсь! Только мне ужасно жалко тебя.

— Ну-ну, наколешься на иглу, — сильным голосом сказала мать и положила широкую ладонь на голову дочери. — Поди, не дождешься, когда вылетит из гнезда?

— Мне и отца жалко, мама.

— А себя жалеешь?

— Себя?

Клавдия подняла лицо и взглянула на мать широко, ясно, с удивлением.

— Себя но жалко. Нисколько!

Мать вздохнула. По темной щеке ее медленно ползла слеза.

— Это хорошо. Берегись, конечно, и зря не лезь, а себя все-таки жалеть по надо: на такое доло идешь.. Вот ведь все понимаю, а материнское сердце — глупое, плачет...

Мать помолчала, посуровела лицом, неторопливо сложила шитье на столе, сняла с себя руки Клавдии, поднялась.

— Встань, — властно сказала она Клавдии. — Благословлю тебя сейчас. Завтра будет недосуг, да и не на людях это делать надо. Гляди мне в глаза. — Она твердо, истово перекрестила Клавдию. — Вот тебе родительское благословение, от отца и от меня: ступай, не оборачивайся, охулки на нас не клади. Подожди целовать-то, поклониться надо прежде. В землю. Обычая не знаешь.

Клавдия, все еще трясясь от волнения, приложилась лбом к прохладной половице, торопливо вскочила, поцеловала мать в мокрую щеку и, ощутив на губах соленый вкус слез, заревела по-детски, безутешно и вслух.

— Молчи, глупая, — мягко сказала мать, вытирая глаза дочери ладошкой, словно та и в самом деле была маленькой. — Сердцем чую: живы будем все, встретимся, — надолго ль, не знаю, а встретимся.

Она пристально взглянула в мокрое пылающее лицо Клавдии и сказала тихонько, как будто только для себя:

— Судьба-то у тебя какая.. Вот, значит, нель-

зя ее, матушку, назначать безо времени, видишь, как повернулось, а?

Остаток ночи и весь день прошли в доме Суховых в молчаливом и тягостном смятении, которое невольно передавалось и немому Митеньке, и Елене. Елена уже оправилась, бродила по дому и пыталась помочь в уборке и на кухне. Но в это утро Матрена Ивановна ласково велела ей по-лежать.

— Сама управлюсь, не привыкать, — прибавила она, медлительно усмехнувшись своим большим ярким ртом.

Клавдия тоже посматривала на Елену с особенной пристальностью, вдруг принималась тискать и целовать Митеньку и, не утерпев, присела к Елене на постель и шепнула той прямо в ухо:

— Чего хочешь передать Мите?

Елена всплеснула худенькими руками.

— А ты..

— Ну, говори же!..

— Помру я без него, — вырвалось у Елены, и она уткнулась в подушку.

Впервые за долгие недели этой странной и тяжелой жизни, недостоверной, как сон, Клавдию томил самый настоящий, грубый и унижительный страх.

В соседнем доме у немцев было сегодня, как ей казалось, особенно беспокойно: там резко хлопнули дверями, визгливо спорили, стучали чем-то тяжелым... Клавдия то и дело выбегала в сени, прислушивалась, подсматривала в щелку. Она боялась, что немцы явятся с обыском, найдут партизана, погубят мать, а главное, — помешают партизану и ей, Клавдии, уйти в лес!

Еще не совсем стемнело, когда Матрена Ива-

новна подоила корову, сама отнесла молоко непрошеным постояльцам и, на обратной дороге, наглухо закрыла все ставни в доме.

Как только утомился Митенька и спокойно задремала Елена, — мать собрала на стол в кухне и тихонько подняла партизана. Он вылез из подполья, заспанный, повеселевший, лохматый. Мать подала ему чистую заштопанную рубаху, велела умыться за печкой и садиться с ними — вечером.

Втроем, перешоптываясь, они уселись за стол в кухне, и мать вынула из печи чугунок картошки и топленое молоко. Света не зажигали и старались совсем не шуметь.

— Страхусь нынче весь день, — горестно призналась мать. — Сами-то мы попривыкли, насколько душа терпит... А как тебя в подполье спустила, — ну, скажи, места себе не найду, словно у меня за плечами все время стоит кто-то...

Партизан посмеивался, но, однако, то и дело пристально оглядывался на окно, выходявшее во двор. Ед он быстро, жадно, просил прощенья и снова лез в чугунок. Насытившись, он рассказал наконец про Дмитрия.

— Увел он меня сразу в кусты, стал спрашивать: я ему сразу про сынишку... самый тяжелый камень выложил. Вижу, побелел весь. Вылечим, говорит. Ну, потом, конечно, про отца сказал. Тут он молчал долго. Ветка у него вязовая в руках была, — изгрыз всю. «Зря, — говорит, — отца застрелили — не успел он ничего понять. Если бы, говорит, не застрелили, — может быть, от этого дня и началась бы его настоящая жизнь». Вы бы его, матушка, не узнали, Митю-то: в бороде он. Черная борода и прямо от ушей растет.

— Значит, на отца стал похожий, — задумчиво уронила мать.

— А ей вот, сестренке, велел сказать: не бойся — пусть идет. А впрочем, говорит, как мать скажет. Очень он вас уважает.

— А я уж и собрала ее, благословила, — так же, словно невзначай, проговорила мать, и парень быстро, пристально взглянул на Клавдию.

Между тем на улице стемнело. Мать первая встала из-за стола, обняла и поцеловала сначала дочь, потом партизана и подала Клавдии плотный темный мешок с наплечным ремнем. Все вышли в сени. Тут, в полной тьме, произошло последнее расставанье. Клавдия порывисто ткнулась лицом в плечо матери, поцеловала ее куда-то в подбородок, оторвалась со стоном...

Мать тихонько отворила дверь, постояла на крыльце и сделала знак: идите.

Партизан и за ним Клавдия, скользнули с крыльца и пропали в яблоневом саду у соседей.

Мать долго стояла, опустив голову, не шевелясь, потом тяжело взошла по ступеням и медленно задвинула засов.

1941—1943 гг.

Редактор *П. Скосырев*

A7873. Подписана к печати 20/VI 1944 г. Печ. л. 5¹/₂. Авт. л.
6,8. Уч.-изд. л. 7,05. Тираж 10.000. Заказ 710

Цена 3 руб. 50 коп.

Тип. „Красный печатник“. Москва, ул. 25 Октября, д. 8